

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

ДЬЯВОЛИАДА.

РОКОВЫЕ ЯЙЦА

Эксклюзив: Русская классика

Михаил Булгаков

Дьяволиада. Роковые яйца

«Public Domain»

1923,1925

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Булгаков М. А.

Дьяволиада. Роковые яйца / М. А. Булгаков — «Public Domain»,
1923,1925 — (Эксклюзив: Русская классика)

ISBN 978-5-17-117229-9

Произведения Михаила Булгакова, собранные в этой книге, объединены общей темой и, можно сказать, одним персонажем 20-х годов XX века. Это коллективное бессознательное, чей голос чутко улавливал Булгаков как фельетонист столичных газет и журналов. Журналистская служба позволила прозаику воочию увидеть и оценить отпугивающие результаты социального эксперимента, проводимого большевиками. Повести, входящие в этот сборник – «Роковые яйца» и «Дьяволиада», – дают широкую политическую, социальную и бытовую панораму 20-х годов. Кроме того, в книге представлен цикл рассказов «Путевые заметки».

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-117229-9

© Булгаков М. А., 1923,1925
© Public Domain, 1923,1925

Содержание

Дьяволиада	5
I. Происшествие 20-го числа	5
II. Продукты производства	6
III. Лысый появился	8
IV. Параграф первый – Коротков вылетел	10
V. Дьявольский фокус	12
VI. Первая ночь	15
VII. Орган и кот	16
VIII. Вторая ночь	21
IX. Машинная жуть	22
X. Страшный Дыркин	25
XI. Парфорсное кино и бездна	27
Роковые яйца	30
Глава 1	30
Глава 2	33
Глава 3	36
Глава 4	38
Глава 5	42
Глава 6	49
Глава 7	51
Глава 8	57
Глава 9	65
Глава 10	68
Глава 11	72
Глава 12	76
Путевые заметки	77
Воспоминание...	78
Спиритический сеанс	82
№ 13 – дом Эльпит-Рабкоммуна	87
Столица в блокноте	92
Сорок сороков	102
Московские сцены	107
Путевые заметки	111
Скорый № 7: Москва – Одесса	111
Киев-город	113
Самогонное озеро	119
Псалом	123
Золотистый город	127
Часы жизни и смерти	138
Москва 20-х годов	140
Путешествие по Крыму	148

Михаил Афанасьевич Булгаков

Дьяволиада. Роковые яйца

Дьяволиада

І. Происшествие 20-го числа

В то время, как все люди скакали с одной службы на другую, товарищ Коротков прочно служил в Главцентрбазспимате (Главная Центральная База Спичечных Материалов) на штатной должности делопроизводителя и прослужил в ней целых 11 месяцев.

Пригревшись в Спимате, нежный, тихий блондин Коротков совершенно вытравил у себя в душе мысль, что существуют на свете так называемые превратности судьбы, и привил взамен нее уверенность, что он – Коротков – будет служить в базе до окончания жизни на земном шаре. Но, увы, вышло совсем не так...

20 сентября 1921 года кассир Спимата накрылся своей противной ушастой шапкой, уложил в портфель полосатую ассигновку и уехал. Это было в 11 часов пополуночи.

Вернулся же кассир в 4½ часа пополудни, совершенно мокрый. Приехав, он стряхнул с шапки воду, положил шапку на стол, а на шапку – портфель и сказал:

– Не напирайте, господа.

Потом пошарил зачем-то в столе, вышел из комнаты и вернулся через четверть часа с большой мертвой курицей со свернутой шеей. Курицу он положил на портфель, на курицу – свою правую руку и молвил:

– Денег не будет.

– Завтра? – хором закричали женщины.

– Нет, – кассир замотал головой, – и завтра не будет, и послезавтра. Не налезайте, господа, а то вы мне, товарищи, стол опрокинете.

– Как? – вскричали все, и в том числе наивный Коротков.

– Граждане! – плачущим голосом запел кассир и локтем отмахнулся от Короткова. – Я же прошу!

– Да как же? – кричали все и громче всех этот комик Коротков.

– Ну, пожалуйста, – сипло пробормотал кассир и, вытащив из портфеля ассигновку, показал ее Короткову.

Над тем местом, куда тыкал грязный ноготь кассира, наискось было написано красными чернилами:

«Выдать. За т. Субботникова – Сенат».

Ниже фиолетовыми чернилами было написано:

«Денег нет. За т. Иванова – Смирнов».

– Как? – крикнул один Коротков, а остальные, пыхтя, навалились на кассира.

– Ах ты, Господи! – растерянно заныл тот. – При чем я тут? Боже ты мой!

Торопливо засунув ассигновку в портфель, он накрылся шапкой, портфель сунул под мышку, взмахнул курицей, крикнул: «Пропустите, пожалуйста!» – и, проломив брешь в живой стене, исчез в дверях.

За ним с писком побежала бледная регистраторша на высоких заостренных каблуках, левый каблук у самых дверей с хрустом отвалился, регистраторша качнулась, подняла ногу и сняла туфлю.

И в комнате осталась она, – босая на одну ногу, и все остальные, в том числе и Коротков.

II. Продукты производства

Через три дня после описанного события дверь отдельной комнаты, где занимался товарищ Коротков, приоткрылась, и женская заплаканная голова злобно сказала:

– Товарищ Коротков, идите жалованье получать.

– Как? – радостно воскликнул Коротков и, насвистывая увертюру из «Кармен», побежал в комнату с надписью: «Касса». У кассирского стола он остановился и широко открыл рот. Две толстых колонны, состоящие из желтых пачек, возвышались до самого потолка. Чтобы не отвечать ни на какие вопросы, потный и взволнованный кассир кнопкой прищипил к стене ассигновку, на которой теперь имелась третья надпись зелеными чернилами:

«Выдать продуктами производства.

За т. Богоявленского – Преображенский.

И я полагаю – Кшесинский».

Коротков вышел от кассира, широко и глупо улыбаясь. В руках у него было 4 больших желтых пачки, 5 маленьких зеленых, а в карманах 13 синих коробок спичек. У себя в комнате, прислушиваясь к гулу изумленных голосов в канцелярии, он упаковал спички в два огромных листа сегодняшней газеты и, не сказавшись никому, отбыл со службы домой. У подъезда Спи-мата он чуть не попал под автомобиль, в котором кто-то подъехал, но кто именно, Коротков не разглядел.

Прибыв домой, он выложил спички на стол и, отойдя, полюбовался на них. Глупая улыбка не сходила с его лица. Затем Коротков взъерошил белокурые волосы и сказал самому себе:

– Ну-с, унывать тут долго нечего. Постараемся их продать.

Он постучался к соседке своей, Александре Федоровне, служащей в Губвинскладе.

– Войдите, – глухо отозвалось в комнате.

Коротков вошел и изумился. Преждевременно вернувшаяся со службы Александра Федоровна в пальто и шапочке сидела на корточках на полу. Перед нею стоял строй бутылок с пробками из газетной бумаги, наполненных жидкостью густого красного цвета. Лицо у Александры Федоровны было заплакано.

– 46, – сказала она и повернулась к Короткову.

– Это чернила?.. Здравствуйте, Александра Федоровна, – вымолвил пораженный Коротков.

– Церковное вино, – всхлипнув, ответила соседка.

– Как, и вам? – ахнул Коротков.

– И вам церковное? – изумилась Александра Федоровна.

– Нам – спички, – угасшим голосом ответил Коротков и закрутил пуговицу на пиджаке.

– Да ведь они же не горят! – вскричала Александра Федоровна, поднимаясь и отряхивая юбку.

– Как это так, не горят? – испугался Коротков и бросился к себе в комнату. Там, не теряя ни минуты, он схватил коробку, с треском распечатал ее и чиркнул спичкой. Она с шипеньем вспыхнула зеленоватым огнем, переломилась и погасла. Коротков, задохнувшись от едкого серного запаха, болезненно закашлялся и зажег вторую. Та выстрелила, и два огня брызнули от нее. Первый попал в оконное стекло, а второй – в левый глаз товарища Короткова.

– А-ах! – крикнул Коротков и выронил коробку.

Несколько мгновений он перебирал ногами, как горячая лошадь, и зажимал глаз ладонью. Затем с ужасом заглянул в бритвенное зеркальце, уверенный, что лишился глаза. Но глаз оказался на месте. Правда, он был красен и источал слезы.

– Ах, Боже мой! – расстроился Коротков, немедленно достал из комода американский индивидуальный пакет, вскрыл его, обвязал левую половину головы и стал похож на раненного в бою.

Всю ночь Коротков не гасил огня и лежал, чиркая спичками. Вычиркал он таким образом три коробки, причем ему удалось зажечь 63 спички.

– Врет, дура, – ворчал Коротков, – прекрасные спички.

Под утро комната наполнилась удушливым серным запахом. На рассвете Коротков уснул и увидел дурацкий, страшный сон: будто бы на зеленом лугу очутился перед ним огромный, живой бильярдный шар на ножках. Это было так скверно, что Коротков закричал и проснулся. В мутной мгле еще секунд пять ему мерещилось, что шар тут, возле постели, и очень сильно пахнет серой. Но потом все это пропало; поворочавшись, Коротков заснул и уже не просыпался.

III. ЛЫСЫЙ ПОЯВИЛСЯ

На следующее утро Коротков, сдвинув повязку, убедился, что глаз его почти выздоровел. Тем не менее повязку излишне осторожный Коротков решил пока не снимать.

Явившись на службу с крупным опозданием, хитрый Коротков, чтобы не возбуждать крик-вотолков среди низших служащих, прямо прошел к себе в комнату и на столе нашел бумагу, в коей заведующий подотделом укомплектования запрашивал заведующего базой, – будет ли выдано машинисткам обмундирование. Прочитав бумагу правым глазом, Коротков взял ее и отправился по коридору к кабинету заведующего базой т. Чекушина.

И вот у самых дверей в кабинет Коротков столкнулся с неизвестным, поразившим его своим видом.

Этот неизвестный был настолько маленького роста, что достигал высокому Короткову только до талии. Недостаток роста искупался чрезвычайной шириной плеч неизвестного. Квадратное туловище сидело на искривленных ногах, причем левая была хромая. Но примечательнее всего была голова. Она представляла собою точную гигантскую модель яйца, насаженного на шею горизонтально и острым концом вперед. Лысой она была тоже как яйцо и настолько блестящей, что на темени у неизвестного, не угасая, горели электрические лампочки. Крохотное лицо неизвестного было выбрито до синевы, и зеленые маленькие, как булавочные головки, глаза сидели в глубоких впадинах. Тело неизвестного было облечено в расстегнутый, сшитый из серого одеяла френч, из-под которого выглядывала малороссийская вышитая рубашка, ноги в штанах из такого же материала и низеньких с вырезом сапожках гусара времен Александра I.

«Т-типик», – подумал Коротков и устремился к двери Чекушина, стараясь миновать лысого. Но тот совершенно неожиданно загородил Короткову дорогу.

– Что вам надо? – спросил лысый Короткова таким голосом, что нервный делопроизводитель вздрогнул. Этот голос был совершенно похож на голос медного таза и отличался таким тембром, что у каждого, кто его слышал, при каждом слове происходило вдоль позвоночника ощущение шершавой проволоки. Кроме того, Короткову показалось, что слова неизвестного пахнут спичками. Несмотря на все это, недалековидный Коротков сделал то, что делать ни в коем случае не следовало, – обиделся.

– Гм... довольно странно. Я иду с бумагой... А позвольте узнать, кто вы так...

– А вы видите, что на двери написано?

Коротков посмотрел на дверь и увидел давно знакомую надпись: «Без доклада не входить».

– Я и иду с докладом, – сглупил Коротков, указывая на свою бумагу.

Лысый квадратный неожиданно рассердился. Глазки его вспыхнули желтоватыми искорками.

– Вы, товарищ, – сказал он, оглушая Короткова кастрюльными звуками, – настолько неразвиты, что не понимаете значения самых простых служебных надписей. Я положительно удивляюсь, как вы служили до сих пор. Вообще тут у вас много интересного, например, эти подбитые глаза на каждом шагу. Ну, ничего, это мы все приведем в порядок. («А-а!» – ахнул про себя Коротков.) Дайте сюда!

И с последними словами неизвестный вырвал из рук Короткова бумагу, мгновенно прочел ее, вытащил из кармана штанов обгрызенный химический карандаш, приложил бумагу к стене и косо написал несколько слов.

– Ступайте! – рявкнул он и ткнул бумагу Короткову так, что чуть не выколол ему и последний глаз. Дверь в кабинет взвыла и проглотила неизвестного, а Коротков остался в оцепенении, – в кабинете Чекушина не было.

Пришел в себя сконфуженный Коротков через полминуты, когда вплотную налетел на Лидочку де Руни, личную секретаршу т. Чекушина.

– А-ах! – ахнул т. Коротков. Глаз у Лидочки был закутан точно таким же индивидуальным материалом с той разницей, что концы бинта были завязаны кокетливым бантом.

– Что это у вас?

– Спички! – раздраженно ответила Лидочка. – Проклятые.

– Кто там такой? – шепотом спросил убитый Коротков.

– Разве вы не знаете? – зашептала Лидочка. – Новый.

– Как? – пискнул Коротков. – А Чекушин?

– Выгнали вчера, – злобно сказала Лидочка и прибавила, ткнув пальчиком по направлению кабинета: – Ну и гу-усь. Вот это фрукт. Такого противного я в жизнь свою не видала. Орет! Уволить!.. Подштанники лысые! – добавила она неожиданно, так что Коротков выпучил на нее глаз.

– Как фа...

Коротков не успел спросить. За дверью кабинета грянул страшный голос: «Курьера!» Делопроизводитель и секретарша мгновенно разлетелись в разные стороны. Прилетев в свою комнату, Коротков сел за стол и произнес сам себе такую речь:

– Ай, яй, яй... Ну, Коротков, ты влопался. Нужно это дельце исправлять... «Неразвиты»... Хм... Нахал... Ладно! Вот ты увидишь, как это так Коротков неразвит.

И одним глазом делопроизводитель прочел писание лысого. На бумаге стояли кривые слова: «Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские кальсоны».

– Вот это здорово! – восхищенно воскликнул Коротков и сладострастно дрогнул, представив себе Лидочку в солдатских кальсонах. Он немедленно вытащил чистый лист бумаги и в три минуты сочинил:

«Телефонограмма.

Заведующему подотделом укомплектования точка. В ответ на отношение ваше за № 0,15015 (б) от 19-го числа запятая Главспимат сообщает запятая что всем машинисткам и вообще женщинам своевременно будут выданы солдатские кальсоны точка Заведывающий тире подпись Делопроизводитель тире Варфоломей Коротков точка».

Он позвонил и явившемуся курьеру Пантелеймону сказал:

– Заведующему на подпись.

Пантелеймон пожевал губами, взял бумагу и вышел.

Четыре часа после этого Коротков прислушивался, не выходя из своей комнаты, в том расчете, чтобы новый заведывающий, если вздумает обходить помещение, непременно застал его погруженным в работу. Но никаких звуков из страшного кабинета не доносилось. Раз только долетел смутный чугунный голос, как будто угрожающий кого-то уволить, но кого именно, Коротков не расслышал, хоть и припадал ухом к замочной скважине. В 3½ часа пополудни за стеной канцелярии раздался голос Пантелеймона:

– Уехали на машине.

Канцелярия тотчас зашумела и разбежалась. Позже всех в одиночестве отбыл домой т. Коротков.

IV. Параграф первый – Коротков вылетел

На следующее утро Коротков с радостью убедился, что глаз его больше не нуждается в лечении повязкой, поэтому он с облегчением сбросил бинт и сразу похорошел и изменился. Напившись чаю на скорую руку, Коротков потушил примус и побежал на службу, стараясь не опоздать, и опоздал на 50 минут из-за того, что трамвай вместо шестого маршрута пошел окружным путем по седьмому, заехал в отдаленные улицы с маленькими домиками и там сломался. Коротков пешком одолел три версты и, запыхавшись, вбежал в канцелярию, как раз когда кухонные часы «Альпийской розы» пробили одиннадцать раз. В канцелярии его ожидало зрелище совершенно необычайное для одиннадцати часов утра. Лидочка де Руни, Милочка Литовцева, Анна Евграфовна, старший бухгалтер Дрозд, инструктор Гитис, Номерацкий, Иванов, Мушка, регистраторша, кассир – словом, вся канцелярия не сидела на своих местах за кухонными столами бывшего ресторана «Альпийской розы», а стояла, сбившись в тесную кучку у стены, на которой гвоздем была прибита четвертушка бумаги. При входе Короткова наступило внезапное молчание, и все потупились.

– Здравствуйте, господа, что это такое? – спросил удивленный Коротков.

Толпа молча расступилась, и Коротков прошел к четвертушке. Первые строчки глянули на него уверенно и ясно, последние сквозь слезливый, ошеломляющий туман.

«ПРИКАЗ № 1»

«§ 1. За недопустимо халатное отношение к своим обязанностям, вызывающее вопиющую путаницу в важных служебных бумагах, а равно и за появление на службе в безобразном виде разбитого, по-видимому, в драке лица, тов. Коротков увольняется с сего 26-го числа, с выдачей ему трамвайных денег по 25-е включительно».

Параграф первый был в то же время и последним, а под параграфом красовалась крупными буквами подпись:

«Заведующий Кальсонер».

Двадцать секунд в пыльном хрустальном зале «Альпийской розы» царил идеальное молчание. При этом лучше всех, глубже и мертвеннее молчал зеленоватый Коротков. На двадцать первой секунде молчание лопнуло.

– Как? Как? – прозвенел два раза Коротков, совершенно как разбитый о каблук альпийский бокал, – его фамилия Кальсо-нер?..

При страшном слове канцелярские брызнули в разные стороны и вмиг расселись по столам, как вороны на телеграфной проволоке. Лицо Короткова сменило гнилую зеленую плесень на пятнистый пурпур.

– Ай, яй, яй, – загудел в отдалении, выглядывая из гроссбуха, Скворец, – как же вы это так, батюшка, промахнулись? А?

– Я ду-думал, думал... – прохрустел осколками голоса Коротков, – прочитал вместо «Кальсонер» «кальсоны». Он с маленькой буквы пишет фамилию!

– Подштанники я не одену, пусть он успокоится! – хрустально звякнула Лидочка.

– Тсс! – змеей зашипел Скворец. – Что вы?

Он нырнул, спрятался в гроссбухе и прикрылся страницей.

– А насчет лица он не имеет права! – негромко выкрикнул Коротков, становясь из пурпурного белым, как горноста́й. – Я нашими же сволочными спичками выжег глаз, как и товарищ де Руни!

– Тише! – пискнул побледневший Гитис. – Что вы? Он вчера испытывал их и нашел превосходными.

«Д-р-р-р-р-р-р-р-р-р», – неожиданно зазвенел электрический звонок над дверью... и тотчас тяжелое тело Пантелеймона упало с табурета и покатилося по коридору.

– Нет! Я объяснюсь. Я объяснюсь! – высоко и тонко спел Коротков, потом кинулся влево, кинулся вправо, пробежал шагов десять на месте, искаженно отражаясь в пыльных альпийских зеркалах, вынырнул в коридоре и побежал на свет тусклой лампочки, висящей над надписью «Отдельные кабинеты». Запыхавшись, он стал перед страшной дверью и очнулся в объятиях Пантелеймона.

– Товарищ Пантелеймон, – заговорил беспокойно Коротков. – Ты меня, пожалуйста,пусти. Мне нужно к заведующему сию минутку...

– Нельзя, нельзя, никого не велено пушать, – захрипел Пантелеймон и страшным запахом лука затушил решимость Короткова, – нельзя. Идите, идите, господин Коротков, а то мне через вас беда будет...

– Пантелеймон, мне же нужно, – угасая, попросил Коротков, – тут, видишь ли, дорогой Пантелеймон, случился приказ... Пустите меня, милый Пантелеймон.

– Ах ты ж, Господи... – в ужасе обернувшись на дверь, забормотал Пантелеймон, – говорю вам, нельзя. Нельзя, товарищ!

В кабинете за дверью грянул телефонный звонок и ухнул в медь тяжкий голос:

– Еду! Сейчас!

Пантелеймон и Коротков расступились; дверь распахнулась, и по коридору понесся Кальсонер в фуражке и с портфелем под мышкой. Пантелеймон впритруску побежал за ним, а за Пантелеймоном, немного поколебавшись, кинулся Коротков. На повороте коридора Коротков, бледный и взволнованный, проскочил под руками Пантелеймона, обогнал Кальсонера и побежал перед ним задом.

– Товарищ Кальсонер, – забормотал он прерывающимся голосом, – позвольте одну минуточку сказать... Тут я по поводу приказа...

– Товарищ! – звякнул бешено стремящийся и озабоченный Кальсонер, сметая Короткова в беге. – Вы же видите, я занят? Еду! Еду!..

– Так я насчет прика...

– Неужели вы не видите, что я занят?.. Товарищ! Обратитесь к делопроизводителю.

Кальсонер выбежал в вестибюль, где помещался на площадке огромный брошенный орган «Альпийской розы».

– Я ж делопроизводитель! – в ужасе облившись потом, визгнул Коротков. – Выслушайте меня, товарищ Кальсонер!

– Товарищ! – заревел, как сирена, ничего не слушая, Кальсонер и, на ходу обернувшись к Пантелеймону, крикнул: – Примите меры, чтоб меня не задерживали!

– Товарищ! – испугавшись, захрипел Пантелеймон. – Что ж вы задерживаете?

И не зная, какую меру нужно принять, принял такую, – ухватил Короткова поперек туловища и легонько прижал к себе, как любимую женщину. Мера оказалась действительной, – Кальсонер ускользнул, словно на роликах скатился с лестницы, и выскочил в парадную дверь.

– Пит! Питт! – закричала за стеклами мотоциклетка, выстрелила пять раз и, закрыв дымом окна, исчезла. Тут только Пантелеймон выпустил Короткова, вытер пот с лица и проревел:

– Бе-да!

– Пантелеймон... – трясущимся голосом спросил Коротков, – куда он поехал? Скорей скажи, он другого, понимаешь ли...

– Кажись, в Центроснаб.

Коротков вихрем сбежал с лестницы, ворвался в шинельную, схватил пальто и кепку и выбежал на улицу.

V. Дьявольский фокус

Короткову повезло. Трамвай в ту же минуту поравнялся с «Альпийской розой». Удачно прыгнув, Коротков понесся вперед, стучаясь то о тормозное колесо, то о мешки на спинах. Надежда обжигала его сердце. Мотоциклетка почему-то задержалась и теперь тарыхтела впереди трамвая, и Коротков то терял из глаз, то вновь обретал квадратную спину в туче синего дыма. Минут пять Короткова колотило и мяло на площадке, наконец у серого здания Центра снаб мотоциклетка стала. Квадратное тело закрылось прохожими и исчезло. Коротков на ходу вырвался из трамвая, повернулся по оси, упал, ушиб колено, поднял кепку и под носом автомобиля поспешил в вестибюль.

Покрывая полы мокрыми пятнами, десятки людей шли навстречу Короткову или обгоняли его. Квадратная спина мелькнула на втором марше лестницы, и, задыхаясь, он поспешил за ней. Кальсонер поднимался со странной, неестественной скоростью, и у Короткова сжималось сердце при мысли, что он упустит его. Так и случилось. На 5-й площадке, когда делопроизводитель совершенно обессилел, спина растворилась в гуще физиономий, шапок и портфелей. Как молния, Коротков взлетел на площадку и секунду колебался перед дверью, на которой было две надписи. Одна золотая по зеленому с твердым знаком «Дортуар пепиньерок», другая черным по белому без твердого «Начканцуправделснаб». Наудачу Коротков устремился в эти двери и увидел стеклянные огромные клетки и много белокурых женщин, бегавших между ними. Коротков открыл первую стеклянную перегородку и увидел за нею какого-то человека в синем костюме. Он лежал на столе и весело смеялся в телефон. Во втором отделении на столе было полное собрание сочинений Шеллера-Михайлова, а возле собрания неизвестная пожилая женщина в платке взвешивала на весах сушеную и дурно пахнущую рыбу. В третьем царил дробный непрерывный грохот и звоночки – там за шестью машинами писали и смеялись шесть светлых, мелкозубых женщин. За последней перегородкой открывалось большое пространство с пухлыми колоннами. Невыносимый треск машин стоял в воздухе, и виднелась масса голов, – женских и мужских, но Кальсонеровой среди них не было. Запутавшись и завертевшись, Коротков остановил первую попавшуюся женщину, пробежавшую с зеркальцем в руках.

– Не видели ли вы Кальсонера?

Сердце в Короткове упало от радости, когда женщина ответила, сделав огромные глаза:

– Да, но он сейчас уезжает. Догоняйте его.

Коротков побежал через колонный зал туда, куда ему указывала маленькая белая рука с блестящими красными ногтями. Проскакав зал, он очутился на узкой и темноватой площадке и увидел открытую пасть освещенного лифта. Сердце ушло в ноги Короткову, – догнал... пасть принимала квадратную одеяльную спину и черный блестящий портфель.

– Товарищ Кальсонер, – прокричал Коротков и окоченел. Зеленые круги в большом количестве запрыгали по площадке. Сетка закрыла стеклянную дверь, лифт тронулся, и квадратная спина, повернувшись, превратилась в богатырскую грудь. Все, все узнал Коротков: и серый френч, и кепку, и портфель, и изюминки глаз. Это был Кальсонер, но Кальсонер с длинной ассирийско-гофрированной бородой, ниспадавшей на грудь. В мозгу Короткова немедленно родилась мысль: «Борода выросла, когда он ехал на мотоциклетке и поднимался по лестнице, – что же это такое?» И затем вторая: «Борода фальшивая, – это что же такое?»

А Кальсонер тем временем начал погружаться в сетчатую бездну. Первыми скрылись ноги, затем живот, борода, последними глазки и рот, выкрикнувший нежные теноровые слова:

– Поздно, товарищ, в пятницу.

«Голос тоже привязной», – стукнуло в коротковском черепе. Секунды три мучительно горела голова, но потом, вспомнив, что никакое колдовство не должно останавливать его, что

остановка – гибель, Коротков двинулся к лифту. В сетке показалась поднимающаяся на канате кровля. Томная красавица с блестящими камнями в волосах вышла из-за трубы и, нежно коснувшись руки Короткова, спросила его:

– У вас, товарищ, порок сердца?

– Нет, ох нет, товарищ, – выговорил ошеломленный Коротков и шагнул к сетке, – не задерживайте меня.

– Тогда, товарищ, идите к Ивану Финогеновичу, – сказала печально красавица, преграждая Короткову дорогу к лифту.

– Я не хочу! – плаксиво вскричал Коротков. – Товарищ! Я спешу. Что вы?

Но женщина осталась непреклонной и печальной.

– Ничего не могу сделать, вы сами знаете, – сказала она и придержала за руку Короткова. Лифт остановился, выплюнул человека с портфелем, закрылся сеткой и опять ушел вниз.

– Пустите меня! – визгнул Коротков и, вырвав руку, с проклятием кинулся вниз по лестнице. Пролетев шесть мраморных маршей и чуть не убив высокую перекрестившуюся старуху в наколке, он оказался внизу возле огромной новой стеклянной стены под надписью вверху серебром по синему: «Дежурные классные дамы» и внизу пером по бумаге: «Справочное». Темный ужас охватил Короткова. За стеной ясно мелькнул Кальсонер. Кальсонер – иссиня-бритый, прежний и страшный. Он прошел совсем близко от Короткова, отделенный от него лишь тоненьким слоем стекла. Стараясь ни о чем не думать, Коротков кинулся к блестящей медной ручке и потряс ее, но она не поддалась.

Скрипнув зубами, он еще раз рванул сияющую медь и тут только в отчаянии разглядел крохотную надпись: «Кругом, через 6-й подъезд».

Кальсонер мелькнул и сгинул в черной нише за стеклом.

– Где шестой? Где шестой? – слабо крикнул он кому-то. Прохожие шарахнулись. Маленькая боковая дверь открылась, и из нее вышел люстриновый старичок в синих очках с огромным списком в руках. Глянув на Короткова поверх очков, он улыбнулся, пожевал губами.

– Что? Все ходите? – зашамкал он. – Ей-богу, напрасно. Вы уж послушайте меня, старичка, бросьте. Все равно я вас уже вычеркнул. Хи-хи.

– Откуда вычеркнули? – остолбенел Коротков.

– Хи. Известно откуда, из списков. Карандашиком – чирк, и готово – хи-кхи. – Старичок сладострастно засмеялся.

– Поз... вольте... Откуда же вы меня знаете?

– Хи. Шутник вы, Василий Павлович.

– Я – Варфоломей, – сказал Коротков и потрогал рукой свой холодный и скользкий лоб, – Петрович.

Улыбка на минуту покинула лицо страшного старичка. Он уставился в лист и сухим пальчиком с длинным когтем провел по строчкам.

– Что ж вы путаете меня? Вот он – Колобков В. П.

– Я – Коротков, – нетерпеливо крикнул Коротков.

– Я и говорю: Колобков, – обиделся старичок. – А вот и Кальсонер. Оба вместе переведены, а на место Кальсонера – Чекушин.

– Что?.. – не помня себя от радости, крикнул Коротков. – Кальсонера выкинули?

– Точно так-с. День всего успел поуправлять, и вышибли.

– Боже! – ликуя воскликнул Коротков. – Я спасен! Я спасен! – И, не помня себя, он сжал костлявую когтистую руку старичка. Тот улыбнулся. На миг радость Короткова померкла. Что-то странное, зловещее мелькнуло в синих глазных дырках старика. Странна показалась и улыбка, обнажавшая сизые десны. Но тотчас же Коротков отогнал от себя неприятное чувство и засуетился.

– Стало быть, мне сейчас в Спимат нужно бежать?

– Обязательно, – подтвердил старичок, – тут и сказано – в Спимат. Только позвольте вашу книжечку, я пометочку в ней сделаю карандашиком.

Коротков тотчас полез в карман, побледнел, полез в другой, еще пуще побледнел, хлопнул себя по карманам брюк и с заглушенным воплем бросился обратно по лестнице, глядя себе под ноги. Сталкиваясь с людьми, отчаянный Коротков взлетел до самого верха, хотел увидеть красавицу с камнями, у нее что-то спросить, и увидел, что красавица превратилась в уродливого, сопливого мальчишку.

– Голубчик! – бросился к нему Коротков. – Бумажник мой, желтый...

– Неправда это, – злобно ответил мальчишка, – не брал я, врут они.

– Да нет, милый, я не то... не ты... документы.

Мальчишка посмотрел исподлобья и вдруг заревел басом.

– Ах, Боже мой! – в отчаянии вскричал Коротков и понесся вниз к старичку.

Но когда он прибежал, старичка уже не было. Он исчез. Коротков кинулся к маленькой двери, рванул ручку. Она оказалась запертой. В полутьме пахло чуть-чуть серой.

Мысли закрутились в голове Короткова метелью, и выпрыгнула одна новая: «Трамвай!» Он ясно вдруг вспомнил, как жали его на площадке двое молодых людей, один из них худенький, с черными, словно приклеенными, усиками.

– Ах, беда-то, вот уж беда, – бормотал Коротков, – это уж всем бедам беда.

Он выбежал на улицу, пробежал ее до конца, свернул в переулок и очутился у подъезда небольшого здания неприятной архитектуры. Серый человек, косою и мрачный, глядя не на Короткова, а куда-то в сторону, спросил:

– Куда ты лезешь?

– Я, товарищ, Коротков, Вэ Пэ, у которого только что украли документы... Все до единого... Меня забрать могут...

– И очень просто, – подтвердил человек на крыльце.

– Так вот позвольте...

– Пушай Коротков самолично и придет.

– Так я же, товарищ, Коротков.

– Удостоверение дай.

– Украли его у меня только что, – застонал Коротков, – украли, товарищ, молодой человек с усиками.

– С усиками? Это, стало быть, Колобков. Беспременно он. Он в нашем районе специально работает. Ты его теперь по чайным ищи.

– Товарищ, я не могу, – заплакал Коротков, – мне в Спимат нужно к Кальсонеру. Пустите меня.

– Удостоверение дай, что украли.

– От кого?

– От домового.

Коротков покинул крыльцо и побежал по улице.

«В Спимат или к домовому? – подумал он. – У домового прием с утра; в Спимат, стало быть».

В это мгновение часы далеко пробили четыре раза на рыжей башне, и тотчас из всех дверей побежали люди с портфелями. Наступили сумерки, и редкий мокрый снег пошел с неба.

«Поздно, – подумал Коротков, – домой».

VI. Первая ночь

В ушке замка торчала белая записка. В сумерках Коротков прочитал ее.

«Дорогой сосед!

Я уезжаю к маме в Звенигород. Оставляю вам в подарок вино. Пейте на здоровье – его никто не хочет покупать. Они в углу.

Ваша А. Пайкова».

Косо улыбнувшись, Коротков прогремел замком, в двадцать рейсов перетащил к себе в комнату все бутылки, стоящие в углу коридора, зажег лампу и, как был в кепке и пальто, повалился на кровать. Как зачарованный, около получаса он смотрел на портрет Кромвеля, растворяющийся в густых сумерках, потом вскочил и внезапно впал в какой-то припадок буйного характера. Сорвав кепку, он швырнул ее в угол, одним взмахом сбросил на пол пачки со спичками и начал топтать их ногами.

– Вот! Вот! Вот! – провыл Коротков и с хрустом давил чертовы коробки, смутно мечтая, что он давит голову Кальсонера.

При воспоминании об яйцевидной голове появилась вдруг мысль о лице бритом и бородатом, и тут Коротков остановился.

– Позвольте... как же это так?.. – прошептал он и провел рукой по глазам. – Это что же? Чего же это я стою и занимаюсь пустяками, когда все это ужасно. Ведь не двойной же он в самом деле?

Страх пополз через черные окна в комнату, и Коротков, стараясь не глядеть в них, закрыл их шторами. Но от этого не полегчало. Двойное лицо, то обрастая бородой, то внезапно обриваясь, выплывало по временам из углов, сверкая зеленоватыми глазами. Наконец, Коротков не выдержал и, чувствуя, что мозг его хочет треснуть от напряжения, тихонечко заплакал.

Наплакавшись и получив облегчение, он поел вчерашней скользкой картошки, потом опять, вернувшись к проклятой загадке, немного поплакал.

– Позвольте... – вдруг пробормотал он, – чего же это я плачу, когда у меня есть вино?

Он залпом выпил пол чайного стакана. Сладкая жидкость подействовала через пять минут, – мучительно заболел левый висок, и жгуче и тошно захотелось пить. Выпив три стакана воды, Коротков от боли в виске совершенно забыл Кальсонера, со стоном содрал с себя верхнюю одежду и, томно закатывая глаза, повалился на постель. «Пирамидону бы...» – шептал он долго, пока мутный сон не сжалился над ним.

VII. Орган и кот

В 10 часов утра следующего дня Коротков наскоро вскипятит чай, отпил без аппетита четверть стакана и, чувствуя, что предстоит трудный, хлопотливый день, покинул свою комнату и перебежал в тумане через мокрый асфальтовый двор. На двери флигеля было написано: «Домовой». Рука Короткова уже протянулась к кнопке, как глаза его прочитали: «По случаю смерти свидетельства не выдаются».

– Ах ты, Господи, – досадливо воскликнул Коротков, – что же это за неудачи на каждом шагу. – И добавил: – Ну, тогда с документами потом, а сейчас в Спимат. Надо разузнать, как и что. Может, Чекушин уже вернулся.

Пешком, так как деньги все были украдены, Коротков добрался до Спимата и, пройдя вестибюль, прямо направил свои стопы в канцелярию. На пороге канцелярии он приостановился и приоткрыл рот. Ни одного знакомого лица в хрустальном зале не было. Ни Дрозда, ни Анны Евграфовны, словом – никого. За столами, напоминая уже не ворон на проволоке, а трех соколов Алексея Михайловича, сидели три совершенно одинаковых бритых блондина в светло-серых клетчатых костюмах и одна молодая женщина с мечтательными глазами и бриллиантовыми серьгами в ушах. Молодые люди не обратили на Короткова никакого внимания и продолжали скрипеть в гроссбухах, а женщина сделала Короткову глазки. Когда же он в ответ на это растерянно улыбнулся, та надменно улыбнулась и отвернулась. «Странно», – подумал Коротков и, запнувшись о порог, вышел из канцелярии. У двери в свою комнату он поколебался, вздохнул, глядя на старую милую надпись: «Делопроизводитель», открыл дверь и вошел. Свет немедленно померк в коротковских глазах, и пол легонечко качнулся под ногами. За коротковским столом, растопырив локти и бешено строча пером, сидел своей собственной персоной Кальсонер. Гофрированные блестящие волосы закрывали его грудь. Дыхание перехватило у Короткова, пока он глядел на лакированную лысину над зеленым сукном. Кальсонер первый нарушил молчание.

– Что вам угодно, товарищ? – вежливо проворковал он фальцетом.

Коротков судорожно облизнул губы, набрал в узкую грудь большой куб воздуха и сказал чуть слышно:

– Кхм... я, товарищ, здешний делопроизводитель... То есть... ну да, ежели помните приказ...

Изумление изменило резко верхнюю часть лица Кальсонера. Светлые его брови поднялись, и лоб превратился в гармонику.

– Извиняюсь, – вежливо ответил он, – здешний делопроизводитель – я.

Временная немота поразила Короткова. Когда же она прошла, он сказал такие слова:

– А как же? Вчера то есть. Ах, ну да. Извините, пожалуйста. Впрочем, я спутал. Пожалуйста.

Он задом вышел из комнаты и в коридоре сказал себе хрипло:

– Коротков, припомни-ка, какое сегодня число?

И сам же себе ответил:

– Вторник, то есть пятница. Тысяча девятьсот.

Он повернулся, и тотчас перед ним вспыхнули на человеческом шаре слоновой кости две коридорных лампочки, и бритое лицо Кальсонера заслонило весь мир.

– Хорошо! – грохнул таз, и судорога свела Короткова. – Я жду вас. Отлично. Рад познакомиться.

С этими словами он пододвинулся к Короткову и так пожал ему руку, что тот встал на одну ногу, словно аист на крыше.

– Штат я разверстал, – быстро, отрывисто и веско заговорил Кальсонер. – Трое там, – он указал на дверь в канцелярию, – и, конечно, Манечка. Вы – мой помощник. Кальсонер – дело-производитель. Превжих всех в шею. И идиота Пантелеймона также. У меня есть сведения, что он был лакеем в «Альпийской розе». Я сейчас сбегая в отдел, а вы пока напишите с Кальсонером отношение насчет всех и в особенности насчет этого, как его... Короткова. Кстати: вы немного похожи на этого мерзавца. Только у того глаз подбитый.

– Я. Нет, – сказал Коротков, качаясь и с отвисшей челюстью, – я не мерзавец. У меня украли все документы. До единого.

– Все? – выкрикнул Кальсонер. – Вздор. Тем лучше.

Он впился в руку тяжело задышавшего Короткова и, пробежав по коридору, втащил его в заветный кабинет и бросил на пухлый кожаный стул, а сам уселся за стол. Коротков, все еще чувствуя странное колебание пола под ногами, съезжился и, закрыв глаза, забормотал: «Двадцатое было понедельник, значит, вторник, двадцать первое. Нет. Что я? Двадцать первый год. Исходящий № 0,15, место для подписи тире Варфоломей Коротков. Это значит я. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. И понедельник на Пэ, и пятница на Пэ, а воскресенье... вскрсс... на Эс, как и среда...»

Кальсонер с треском расчеркнулся на бумаге, хлопнул по ней печатью и ткнул ему. В это мгновение яростно зазвонил телефон. Кальсонер ухватился за трубку и заорал в нее:

– Ага! Так. Так. Сию минуту приеду.

Он кинулся к вешалке, сорвал с нее фуражку, прикрыл ею лысину и исчез в дверях с прощальными словами:

– Ждите меня у Кальсонера.

Все решительно помутилось в глазах у Короткова, когда он прочел написанное на бумажке со штампом:

«Предъявитель сего суть действительно мой помощник т. Василий Павлович Колобков, что действительно верно. Кальсонер».

– О-о! – простонал Коротков, роняя на пол бумагу и фуражку. – Что же это такое делается?

В эту же минуту дверь спела визгливо, и Кальсонер вернулся в своей бороде.

– Кальсонер уже удрал? – тоненько и ласково спросил он у Короткова.

Свет кругом потух.

– А-а-а-а... – взвыл, не вытерпев пытки, Коротков и, не помня себя, подскочил к Кальсонеру, оскалив зубы. Ужас изобразился на лице Кальсонера до того, что оно сразу пожелтело. Задом навалившись на дверь, он с грохотом отпер ее, провалился в коридор, не удержавшись, сел на корточки, но тотчас выпрямился и бросился бежать с криком:

– Курьер! Курьер! На помощь!

– Стойте. Стойте. Я вас прошу, товарищ... – опомнившись, выкрикнул Коротков и бросился вслед.

Что-то загремело в канцелярии, и соколы вскочили, как по команде. Мечтательные глаза женщины взметнулись у машины.

– Будут стрелять. Будут стрелять! – пронесся ее истерический крик.

Кальсонер вскочил в вестибюль на площадку с органом первым, секунду поколебался, куда бежать, рванулся и, круто срезав угол, исчез за органом. Коротков бросился за ним, поскользнулся и, наверно, разбил бы себе голову о перила, если бы не огромная кривая и черная ручка, торчащая из желтого бока. Она подхватила полу коротковского пальто, гнилой шевиот с тихим писком расползся, и Коротков мягко сел на холодный пол. Дверь бокового хода за органом со звоном захлопнулась за Кальсонером.

– Боже... – начал Коротков и не кончил.

В грандиозном ящике с запыленными медными трубами послышался странный звук, как будто лопнул стакан, затем пыльное, утробное ворчание, странный хроматический писк и удар колоколов. Потом звучный мажорный аккорд, бодрящая полнокровная струя и весь желтый трехъярусный ящик заиграл, пересыпая внутри залежи застоявшегося звука:

Шумел, гремел пожар московский...

В черном квадрате двери внезапно появилось бледное лицо Пантелеймона. Миг, и с ним произошла метаморфоза. Глазки его засверкали победным блеском, он вытянулся, хлестнул правой рукой через левую, как будто перекинул невидимую салфетку, сорвался с места и боком, косо, как пристяжная, покатил по лестнице, округлив руки так, словно в них был поднос с чашками.

Ды-ым расстился по реке-е.

– Что я наделал? – ужаснулся Коротков.

Машина, провернув первые застоявшиеся волны, пошла ровно, тысячеголовым, львиным ревом и звоном наполняя пустынные залы Спимата.

А на стенах ворот кремлевских...

Сквозь вой и грохот и колокола прорвался сигнал автомобиля, и тотчас Кальсонер возвратился через главный вход, – Кальсонер бритый, мстительный и грозный. В зловещем синеватом сиянии он плавно стал подниматься по лестнице. Волосы зашевелились на Короткове, и, взвившись, он через боковые двери по кривой лестнице за органом выбежал на усеянный щебнем двор, а затем на улицу. Как на угонке полетел он по улице, слушая, как вслед ему глухо рокотало здание «Альпийской розы»:

Стоял он в сером сюртуке.

На углу извозчик, взмахивая кнутом, бешено рвал клячу с места.

– Господи! Господи! – бурно зарыдал Коротков. – Опять он! Да что же это?

Кальсонер бородатый вырос из мостовой возле пролетки, вскочил в нее и начал лупить извозчика в спину, приговаривая тоненьким голосом:

– Гони! Гони, негодяй!

Кляча рванула, стала лягать ногами, затем под жгучими ударами кнута понеслась, наполнив экипажным грохотом улицу. Сквозь бурные слезы Коротков видел, как лакированная шляпа слетела у извозчика, а из-под нее разлетелись в разные стороны вьющиеся денежные бумажки. Мальчишки со свистом погнались за ними. Извозчик, обернувшись, в отчаянии натянул вожжи, но Кальсонер бешено начал тужить его в спину с воплем:

– Езжай! Езжай! Я заплачу.

Извозчик, выкрикнув отчаянно:

– Эх, ваше здоровье, погибать, что ли? – пустил клячу карьером, и все исчезло за углом.

Рыдая, Коротков глянул на серое небо, быстро несущееся над головой, пошатался и закричал болезненно:

– Довольно. Я так не оставляю! Я его разъясню.

Он прыгнул и прицепился к дуге трамвая. Дуга пошатала его минут пять и сбросила у девятиэтажного зеленого здания. Вбежав в вестибюль, Коротков просунул голову в четырехугольное отверстие в деревянной загородке и спросил у громадного синего чайника:

– Где бюро претензий, товарищ?

– 8-й этаж, 9-й коридор, квартира 41-я, комната 302, – ответил чайник женским голосом.

– 8-й, 9-й, 41-я, триста... триста... сколько бишь... 302, – бормотал Коротков, взбегая по широкой лестнице. – 8-й, 9-й, 8-й, стоп, 40... нет, 42... нет, 302, – мычал он, – ах, Боже, забыл... да 40-я, сороковая...

В 8-м этаже он миновал три двери, увидел на четвертой черную цифру «40» и вошел в необъятный двухсветный зал с колоннами. В углах его лежали катушки рулонной бумаги, и весь пол был усеян исписанными бумажными обрывками. В отдалении маячил столик с машинкой, и золотистая женщина, тихо мурлыча песенку, подперев щеку кулаком, сидела за ним. Растерянно оглянувшись, Коротков увидел, как с эстрады за колоннами сошла, тяжело ступая, массивная фигура мужчины в белом кунтуше. Седоватые отвисшие усы виднелись на его мраморном лице. Мужчина, улыбаясь необыкновенно вежливой, безжизненной, гипсовой улыбкой, подошел к Короткову, нежно пожал ему руку и молвил, щелкнув каблуками:

– Ян Собесский.

– Не может быть... – ответил пораженный Коротков.

Мужчина приятно улыбнулся.

– Представьте, многие изумляются, – заговорил он с неправильными ударениями, – но вы не подумайте, товарищ, что я имею что-либо общее с этим бандитом. О нет. Горькое совпадение, больше ничего. Я уже подал заявление об утверждении моей новой фамилии – Соцвосский. Это гораздо красивее и не так опасно. Впрочем, если вам неприятно, – мужчина обидчиво скривил рот, – я не навязываюсь. Мы всегда найдем людей. Нас ищут.

– Помилуйте, что вы, – болезненно выкрикнул Коротков, чувствуя, что и тут начинается что-то странное, как и везде. Он оглянулся травленным взором, боясь, что откуда-нибудь вынырнет бритый лик и лысина-скорлупа, а потом добавил суконным языком: – Я очень рад, да, очень...

Пестрый румянец чуть проступил на мраморном человеке; нежно поднимая руку Короткова, он повлек его к столику, приговаривая:

– И я очень рад. Но вот беда, вообразите: мне даже негде вас посадить. Нас держат в загоне, несмотря на все наше значение (мужчина махнул рукой на катушки бумаги). Интриги... Но-о, мы развернемся, не беспокойтесь... Гм... Чем же вы порадуете нас новеньким? – ласково спросил он у бледного Короткова. – Ах да, виноват, виноват тысячу раз, позвольте вас познакомить, – он изящно махнул белой рукой в сторону машинки, – Генриетта Потаповна Персимфанс.

Женщина тотчас же пожала холодной рукой руку Короткова и посмотрела на него томно.

– Итак, – сладко продолжал хозяин, – чем же вы нас порадуете? Фельетон? Очерки? – закатив белые глаза, протянул он. – Вы не можете себе представить, до чего они нужны нам.

«Царица небесная... что это такое?» – туманно подумал Коротков, потом заговорил, судорожно переводя дух:

– У меня... э... произошло ужасное. Он... Я не понимаю. Вы не подумайте, ради Бога, что это галлюцинации... Кхм... ха-кха... (Коротков попытался искусственно засмеяться, но это не вышло у него.) Он живой. Уверяю вас... но я ничего не пойму, то с бородой, а через минуту без бороды. Я прямо не понимаю... И голос меняет... кроме того, у меня украли все документы до единого, а домовый, как на грех, умер. Этот Кальсонер...

– Так я и знал, – вскричал хозяин, – это они?

– Ах, Боже мой, ну конечно, – отозвалась женщина, – ах, эти ужасные Кальсонеры.

– Вы знаете, – перебил хозяин взволнованно, – я из-за него сижу на полу. Вот-с, полюбуйте. Ну, что он понимает в журналистике?... – Хозяин ухватил Короткова за пуговицу. – Будьте добры, скажите, что он понимает? Два дня он пробыл здесь и совершенно меня замутил. Но, представьте, счастье. Я ездил к Федору Васильевичу, и тот наконец убрал его. Я поста-

вил вопрос остро: я или он. Его перевели в какой-то Спимат или черт его знает еще куда. Пусть воняет там этими спичками! Но мебель, мебель он успел передать в это проклятое бюро. Всю. Не угодно ли? На чем я, позвольте узнать, буду писать? На чем будете писать вы? Ибо я не сомневаюсь, что вы будете наш, дорогой (хозяин обнял Короткова). Прекрасную атласную мебель Луи Каторз этот прохвост безответственным приемом спихнул в это дурацкое бюро, которое завтра все равно закроют к чертовой матери.

– Какое бюро? – глухо спросил Коротков.

– Ах, да эти претензии или как их там, – с досадой сказал хозяин.

– Как? – крикнул Коротков. – Как? Где оно?

– Там, – изумленно ответил хозяин и ткнул рукой в пол.

Коротков в последний раз окинул безумными глазами белый кунтуш и через минуту оказался в коридоре. Подумав немного, он полетел налево, ища лестницы вниз. Минут пять он бежал, следуя прихотливым изгибам коридора, и через пять минут оказался у того места, откуда выбежал. Дверь № 40.

– Ах, черт! – ахнул Коротков, потоптался и побежал вправо и через 5 минут опять был там же. № 40. Рванув дверь, Коротков вбежал в зал и убедился, что тот опустел. Лишь машинка безмолвно улыбалась белыми зубами на столе. Коротков подбежал к колоннаде и тут увидел хозяина. Тот стоял на пьедестале уже без улыбки, с обиженным лицом.

– Извините, что я не попрощался... – начал было Коротков и смолк. Хозяин стоял без уха и носа, и левая рука у него была отломана. Пятясь и холодея, Коротков выбежал опять в коридор. Незаметная потайная дверь напротив вдруг открылась, и из нее вышла сморщенная коричневая баба с пустыми ведрами на коромысле.

– Баба! Баба! – тревожно закричал Коротков. – Где бюро?

– Не знаю, батюшка, не знаю, кормилец, – ответила баба, – да ты не бегай, миленький, все одно не найдешь. Разве мыслимо – десять этажей.

– У-у... д-дура, – стиснув зубы, рыкнул Коротков и бросился в дверь. Она захлопнулась за ним, и Коротков оказался в тупом полутемном пространстве без выхода. Бросаясь в стены и царапаясь, как засыпанный в шахте, он наконец навалился на белое пятно, и оно выпустило его на какую-то лестницу. Дробно стуча, он побежал вниз. Шаги послышались ему навстречу снизу. Тоскливое беспокойство сжало сердце Короткова, и он стал останавливаться. Еще миг, – и показалась блестящая фуражка, мелькнули серое одеяло и длинная борода. Коротков качнулся и вцепился в перила руками. Одновременно скрестились взоры, и оба завывли тонкими голосами страха и боли. Коротков задом стал отступать вверх, Кальсонер попятился вниз, полный неизбывного ужаса.

– Постойте, – прохрипел Коротков, – минутку... вы только объясните...

– Спасите! – заревел Кальсонер, меняя тонкий голос на первый свой медный бас. Оступившись, он с громом упал вниз затылком: удар не прошел ему даром. Обернувшись в черного кота с фосфорными глазами, он вылетел обратно, стремительно и бархатно пересек площадку, сжался в комок и, прыгнув на подоконник, исчез в разбитом стекле и паутине. Белая пелена на миг заволокла коротковский мозг, но тотчас свалилась, и наступило необыкновенное прояснение.

– Теперь все понятно, – прошептал Коротков и тихонько рассмеялся, – ага, понял. Вот оно что. Коты! Все понятно. Коты.

Он начал смеяться все громче, громче, пока вся лестница не наполнилась гулкими раскатами.

VIII. Вторая ночь

В сумерки товарищ Коротков, сидя на байковой кровати, выпил три бутылки вина, чтобы все забыть и успокоиться. Голова теперь у него болела вся: правый и левый висок, затылок и даже веки. Легкая муть поднималась со дна желудка, ходила внутри волнами, и два раза тов. Короткова рвало в таз.

– Я вот так сделаю, – слабо шептал Коротков, свесив вниз голову, – завтра я постараюсь не встречаться с ним. Но так как он вертится всюду, то я пережду. Пережду: в переулочке или в тупичке. Он себе мимо и пройдет. А если он погонится за мной, я убегу. Он и отстанет. Иди себе, мол, своей дорогой. И я уж больше не хочу в Спимат. Бог с тобой. Служи себе и заведующим и делопроизводителем, и трамвайных денег я не хочу. Обойдусь и без них. Только ты уж меня, пожалуйста, оставь в покое. Кот ты или не кот, с бородой или без бороды, – ты сам по себе, я сам по себе. Я себе другое местечко найду и буду служить тихо и мирно. Ни я никого не трогаю, ни меня никто. И претензий на тебя никаких подавать не буду. Завтра только выправлю себе документы – и шабаш...

В отдалении глухо начали бить часы. Бам... бам... «Это у Пеструхиных», – подумал Коротков и стал считать:

– Десять... одиннадцать... полночь, 13, 14, 15... 40... Сорок раз пробил часики, – горько усмехнулся Коротков, а потом опять заплакал. Потом его опять судорожно и тяжело стошнило церковным вином.

– Крепкое, ох крепкое вино, – выговорил Коротков и со стоном откинулся на подушку. Прошло часа два, и непотушенная лампа освещала бледное лицо на подушке и растрепанные волосы.

IX. Машинная жуть

Осенний день встретил тов. Короткова расплывчато и странно. Боязливо озираясь на лестнице, он взобрался на 8-й этаж, повернул наобум направо и радостно вздрогнул. Нарисованная рука указывала ему на надпись «Комнаты 302–349». Следуя пальцу спасительной руки, он добрался до двери с надписью «302 – бюро претензий». Осторожно заглянув в нее, чтобы не столкнуться с кем не надо, Коротков вошел и очутился перед семью женщинами за машинками. Поколебавшись немного, он подошел к крайней – смуглой и матовой, поклонился и хотел что-то сказать, но брюнетка вдруг перебила его. Взоры всех женщин устремились на Короткова.

– Выйдем в коридор, – резко сказала матовая и судорожно поправила прическу.

«Боже мой, опять, опять что-то...» – тоскливо мелькнуло в голове Короткова. Тяжело вздохнув, он повиновался. Шесть оставшихся взволнованно зашущукали вслед.

Брюнетка вывела Короткова и в полутьме пустого коридора сказала:

– Вы ужасны... Из-за вас я не спала всю ночь и решилась. Будь по-вашему. Я отдамся вам.

Коротков посмотрел на смуглое с огромными глазами лицо, от которого пахло ландышем, издал какой-то гортанный звук и ничего не сказал. Брюнетка закинула голову, страдальчески оскалила зубы, схватила руки Короткова, притянула его к себе и зашептала:

– Что ж ты молчишь, соблазнитель? Ты покори меня своею храбростью, мой змий. Целуй же меня, целуй скорее, пока нет никого из контрольной комиссии.

Опять странный звук вылетел изо рта Короткова. Он пошатнулся, ощутил на своих губах что-то сладкое и мягкое, и огромные зрачки оказались у самых глаз Короткова.

– Я отдамся тебе... – шепнуло у самого рта Короткова.

– Мне не надо, – сипло ответил он, – у меня украли документы.

– Тэк-с, – вдруг раздалось сзади.

Коротков обернулся и увидел люстринового старичка.

– А-ах! – вскрикнула брюнетка и, закрыв лицо руками, убежала в дверь.

– Хи, – сказал старичок, – здорово. Куда ни придешь, вы, господин Колобков. Ну и хват же вы. Да что там, целуй не целуй, не выцелуете командировку. Мне, старичку, дали, мне и ехать. Вот что-с.

С этими словами он показал Короткову сухенький маленький шиш.

– А заявленьце я на вас подам, – злобно продолжал люстрин, – да-с. Растлили трех в главном отделе, теперь, стало быть, до подразделов добираетесь? Что их ангелочки теперь плачут, это вам все равно? Горюют они теперь, бедные девочки, да ау, поздно-с. Не воротишь девичьей чести. Не воротишь.

Старичок вытащил большой носовой платок с оранжевыми букетами, заплакал и засморкался.

– Из рук старичка подъемные крохи желаете выдрать, господин Колобков? Что ж... – Старичок затрясся и зарыдал, уронил портфель. – Берите, кушайте. Пушай беспартийный, сочувствующий старичок с голоду помирает... Пушай, мол. Туда ему и дорога, старой собаке. Ну, только попомните, господин Колобков, – голос старичка стал пророчески грозным и налился колоколами, – не пойдут они вам впрок, денежки эти сатанинские. Колом в горле они у вас станут, – и старичок разлился в бурных рыданиях.

Истерика овладела Коротковым; внезапно и неожиданно для самого себя он дробно затопал ногами.

– К чертовой матери! – тонко закричал он, и его больной голос разнесся по сводам. – Я не Колобков. Отлезь от меня! Не Колобков. Не еду! Не еду!

Он начал рвать на себе воротничок.

Старичок мгновенно высох, от ужаса задрожал.

– Следующий! – каркнула дверь. Коротков смолк и кинулся в нее, свернув влево, миновав машинки, и очутился перед рослым, изящным блондином в синем костюме. Блондин кивнул Короткову головой и сказал:

– Покороче, товарищ. Разом. В два счета. Полтава или Иркутск?

– Документы украли, – дико озираясь, ответил растерзанный Коротков, – и кот появился. Не имеет права. Я никогда в жизни не дрался, это спички. Преследовать не имеет права. Я не посмотрю, что он Кальсонер. У меня украли до...

– Ну, это вздор, – ответил синий, – обмундирование дадим, и рубахи, и простыни. Если в Иркутск, так даже и полушубок подержанный. Короче.

Он музыкально звякнул ключом в замке, выдвинул ящик и, заглянув в него, приветливо сказал:

– Пожалте, Сергей Николаевич.

И тотчас из ясеневого ящика выглянула причесанная, светлая, как лен, голова и синие бегающие глаза. За ними изогнулась, как змеиная, шея, хрустнул крахмальный воротничок, показался пиджак, руки, брюки, и через секунду законченный секретарь, с писком «Доброе утро», вылез на красное сукно. Он встряхнулся, как выкупавшийся пес, соскочил, заправил поглубже манжеты, вынул из карманчика патентованное перо и в ту же минуту застрочил.

Коротков отшатнулся, протянул руку и жалобно сказал синему:

– Смотрите, смотрите, он вылез из стола. Что же это такое?..

– Естественно, вылез, – ответил синий, – не лежать же ему весь день. Пора. Время. Хронометраж.

– Но как? Как? – зазвенел Коротков.

– Ах ты, Господи, – взволновался синий, – не задерживайте, товарищ.

Брюнеткина голова вынырнула из двери и крикнула возбужденно и радостно:

– Я уже заслала его документы в Полтаву. И я еду с ним. У меня тетка в Полтаве под 43-м градусом широты и 5-м долготы.

– Ну и чудесно, – ответил блондин, – а то мне надоела эта вольтка.

– Я не хочу! – вскричал Коротков, блуждая взором. – Она будет мне отдаваться, а я терпеть этого не могу. Не хочу! Верните документы. Священную мою фамилию. Восстановите!

– Товарищ, это в отделе брачующихся, – запищал секретарь, – мы ничего не можем сделать.

– О, дурашка! – воскликнула брюнетка, выглянув опять. – Соглашайся! Соглашайся! – кричала она суфлерским шепотом. Голова ее то скрывалась, то появлялась.

– Товарищ! – зарыдал Коротков, размазывая по лицу слезы. – Товарищ! Умоляю тебя, дай документы. Будь другом. Будь, прошу тебя всеми фибрами души, и я уйду в монастырь.

– Товарищ! Без истерики. Конкретно и абстрактно изложите письменно и устно, срочно и секретно – Полтава или Иркутск? Не отнимайте время у занятого человека! По коридорам не ходить! Не плевать! Не курить! Разменом денег не затруднять! – выйдя из себя, загремел блондин.

– Рукопожатия отменяются! – кукарекнул секретарь.

– Да здравствуют объятия! – страстно шепнула брюнетка и, как дуновение, пронеслась по комнате, обдав ландышем шею Короткова.

– Сказано в заповеди тринадцатой: не входи без доклада к ближнему твоему, – прошамкал люстриновый и пролетел по воздуху, взмахивая полами крылатки... – Я и не вхожу, не вхожу-с, – а бумажку все-таки подброшу, вот так, хлоп!.. Подпишешь любую – и на скамье подсудимых. Он выкинул из широкого черного рукава пачку белых листов, и они разлетелись и усеяли столы, как чайки скалы на берегу.

Мать заходила в комнате, и окна стали качаться.

– Товарищ блондин! – плакал истомленный Коротков, – застрели ты меня на месте, но выправь ты мне какой ни на есть документик. Руку я тебе поцелую.

В мути блондин стал пухнуть и вырастать, не переставая ни на минуту бешено подписывать старичковы листки и швырять их секретарю, который ловил их с радостным урчанием.

– Черт с ним! – загремел блондин. – Черт с ним. Машинистки, гей!

Он махнул огромной рукой, стена перед глазами Короткова распалась, и тридцать машин на столах, звякнув звоночками, заиграли фокстрот. Кольша бедрами, сладострастно поводя плечами, взбрасывая кремовыми ногами белую пену, парадом-алле двинулись тридцать женщин и пошли вокруг столов.

Белые змеи бумаги полезли в пасти машин, стали свиваться, раскраиваться, сшиваться. Вылезли белые брюки с фиолетовыми лампасами. «Предъявитель сего есть действительно предъявитель, а не какая-нибудь шантрапа».

– Надевай! – грохнул блондин в тумане.

– И-и-и-и, – тоненько заскулил Коротков и стал биться головой об угол блондинова стола. Голове полегчало на минутку, и чье-то лицо в слезах метнулось перед Коротковым.

– Валерьянки! – крикнул кто-то на потолке.

Крылатка, как черная птица, закрыла свет, старичок зашептал тревожно:

– Теперь одно спасение – к Дыркину в пятое отделение. Ходу! Ходу!

Запахло эфиром, потом руки нежно вынесли Короткова в полутемный коридор. Крылатка обняла Короткова и повлекла, шепча и хихикая:

– Ну, я уж им удружил: такое подсыпал на столы, что каждому из них достанется не меньше пяти лет с поражением на поле сражения. Ходу! Ходу!

Крылатка порхнула в сторону, потянуло ветром и сыростью из сетки, уходящей в пропасть...

Х. Страшный Дыркин

Зеркальная кабина стала падать вниз, и двое Коротковых упали вниз. Второго Короткова первый и главный забыл в зеркале кабины и вышел один в прохладный вестибюль. Очень толстый и розовый в цилиндре встретил Короткова словами:

– И чудесно. Вот я вас и арестую.

– Меня нельзя арестовать, – ответил Коротков и засмеялся сатанинским смехом, – потому что я неизвестно кто. Конечно. Ни арестовать, ни женить меня нельзя. А в Полтаву я не поеду. Толстый человек задрожал в ужасе, поглядел в зрачки Короткову и стал оседать назад.

– Арестуй-ка, – пискнул Коротков и показал толстяку дрожащий бледный язык, пахнувший валерьянкой, – как ты арестуешь, ежели вместо документов – фига? Может быть, я Гогенцоллерн.

– Господи Иисусе, – сказал толстяк, трясущейся рукой перекрестился и превратился из розового в желтого.

– Кальсонер не попадался? – отрывисто спросил Коротков и оглянулся. – Отвечай, толстун.

– Никак нет, – ответил толстяк, меняя розовую окраску на серенькую.

– Как же теперь быть? А?

– К Дыркину, не иначе, – пролепетал толстяк, – к нему самое лучшее. Только грозен. Ух, грозен! И не подходи. Двое уж от него сверху вылетели. Телефон сломал нынче.

– Ладно, – ответил Коротков и залихватски сплюнул, – нам теперь все равно. Подымай!

– Ножку не ушибите, товарищ уполномоченный, – нежно сказал толстяк, подсаживая Короткова в лифт.

На верхней площадке попался маленький лет шестнадцати и страшно закричал:

– Куда ты? Стой!

– Не бей, дяденька, – сказал толстяк, съежившись и закрыв голову руками, – к самому Дыркину.

– Проходи, – крикнул маленький.

Толстяк зашептал:

– Вы уж идите, ваше сиятельство, а я здесь на скамеечке вас подожду. Больно жутко...

Коротков попал в темную переднюю, а из нее в пустынный зал, в котором был распростерт голубой вытертый ковер.

Перед дверью с надписью «Дыркин» Коротков немного поколебался, но потом вошел и оказался в уютно обставленном кабинете с огромным малиновым столом и часами на стене. Маленький пухлый Дыркин вскочил на пружине из-за стола и, вздыбив усы, рявкнул:

– М-молчать!.. – хоть Коротков еще ровно ничего не сказал.

В ту же минуту в кабинете появился бледный юноша с портфелем. Лицо Дыркина мгновенно покрылось улыбовыми морщинами.

– А-а! – вскричал он сладко. – Артур Артурыч. Наше вам.

– Слушай, Дыркин, – заговорил юноша металлическим голосом, – ты написал Пузыреву, что будто бы я учредил в эмеритурной кассе свою единоличную диктатуру и попер эмеритурные майские деньги? Ты? Отвечай, паршивая сволочь.

– Я?.. – забормотал Дыркин, колдовски превращаясь из грозного Дыркина в Дыркина добряка. – Я, Артур Диктатурыч... Я, конечно... Вы это напрасно...

– Ах ты, мерзавец, мерзавец, – раздельно сказал юноша, покачал головой и, взмахнув портфелем, треснул им Дыркина по уху, словно блин выложил на тарелку.

Коротков машинально охнул и застыл.

– То же будет и тебе, и всякому негодяю, который позволит себе совать нос в мои дела, – внушительно сказал юноша и, погрозив на прощание Короткову красным кулаком, вышел.

Минуты две в кабинете стояло молчание, и лишь подвески на канделябрах звякали от проехавшего где-то грузовика.

– Вот, молодой человек, – горько усмехнувшись, сказал добрый и униженный Дыркин, – вот и награда за усердие. Ночей недосыпаешь, недоедаешь, недопиваешь, а результат всегда один – по морде. Может быть, и вы с тем же пришли? Что ж... Бейте Дыркина, бейте. Морда у него, видно, казенная. Может быть, вам рукой больно? Так вы канделябрик возьмите.

И Дыркин соблазнительно выставил пухлые щеки из-за письменного стола. Ничего не понимая, Коротков косо и застенчиво улыбнулся, взял канделябр за ножку и с хрустом ударил Дыркина по голове свечами. Из носа у того закапала на сукно кровь, и он, крикнув «караул», убежал через внутреннюю дверь.

– Ку-ку! – радостно крикнула лесная кукушка и выскочила из нюрнбергского разрисованного домика на стене.

– Ку-клукс-клан! – закричала она и превратилась в лысую голову. – Запишем, как вы работников лупите!

Ярость овладела Коротковым. Он взмахнул канделябром и ударил им в часы. Они ответили громом и брызгами золотых стрелок. Кальсонер выскочил из часов, превратился в белого петушка с надписью «исходящий» и юркнул в дверь. Тотчас за внутренними дверями разлился вопль Дыркина: «Лови его, разбойника!», и тяжкие шаги людей полетели со всех сторон. Коротков повернулся и бросился бежать.

XI. Парфорсное кино и бездна

С площадки толстяк скакнул в кабину, забросился сетками и ухнул вниз, а по огромной, изгрызенной лестнице побежали в таком порядке: первым – черный цилиндр толстяка, за ним – белый исходящий петух, за петухом – канделябр, пролетевший в верхушке над острой белой головкой, затем Коротков, шестнадцатилетний с револьвером в руке и еще какие-то люди, топочущие подкованными сапогами. Лестница застонала бронзовым звоном, и тревожно захлопали двери на площадках.

Кто-то свесился с верхнего этажа вниз и крикнул в рупор:

– Какая секция переезжает? Несгораемую кассу забыли!

Женский голос внизу ответил:

– Бандиты!!

В огромные двери на улицу Коротков, обогнав цилиндр и канделябр, выскочил первым и, заглотав огромную порцию раскаленного воздуха, полетел на улицу. Белый петушок провалился сквозь землю, оставив серный запах, черная крылатка соткалась из воздуха и поплелась рядом с Коротковым с криком тонким и протяжным:

– Артельщики бьют, товарищи!

По пути Короткова прохожие сворачивали в стороны и вползали в подворотни, вспыхивали и гасли короткие свистки. Кто-то бешено порскал, улюлюкал, и загорались тревожные, сильные крики: «Держи». С дробным грохотом опускались железные шторы, и какой-то хромой, сидя на трамвайной линии, визжал:

– Началось!

Выстрелы летели теперь за Коротковым частые, веселые, как елочные хлопушки, и пули жикали то сбоку, то сверху. Рычащий, как кузнечный мех, Коротков стремился к гиганту – одиннадцатизэтажному зданию, выходящему боком на улицу и фасадом в тесный переулочек. На самом углу – стеклянная вывеска с надписью «Restoran i pivo» треснула звездой, и пожилой извозчик пересел с козел на мостовую с томным выражением лица и словами:

– Здорово! Что ж вы, братцы, в кого попало, стало быть?..

Выбежавший из переулка человек сделал попытку ухватить Короткова за полу пиджака, и пола осталась у него в руках. Коротков завернул за угол, пролетел несколько саженей и вбежал в зеркальное пространство вестибюля. Мальчик в галунах и золоченых пуговках отскочил от лифта и заплакал.

– Садись, дядя. Садись! – проревел он. – Только не бей сироту!

Коротков вонзился в коробку лифта, сел на зеленый диван напротив другого Короткова и задышал, как рыба на песке. Мальчишка, всхлипывая, влез за ним, закрыл дверь, ухватился за веревку, и лифт поехал вверх. И тотчас внизу, в вестибюле, загремели выстрелы и завертелись стеклянные двери.

Лифт мягко и тошно шел вверх, мальчишка, успокоившись, утирал нос одной рукой, а другой перебирал веревку.

– Деньги покрад, дяденька? – с любопытством спросил он, всматриваясь в растерзанного Короткова.

– Кальсонера... атакуем... – задыхаясь, отвечал Коротков. – Да он в наступление перешел...

– Тебе, дяденька, лучше всего на самый верх, где бильярдные, – посоветовал мальчишка, – там на крыше отсидишься, если с маузером.

– Давай наверх... – согласился Коротков.

Через минуту лифт плавно остановился, мальчишка распахнул двери и, шмыгнув носом, сказал:

– Вылазь, дяденька, сыпь на крышу.

Коротков выпрыгнул, осмотрелся и прислушался. Снизу донесся нарастающий, поднимающийся гул, сбоку – стук костяных шаров через стеклянную перегородку, за которой мелькали встревоженные лица. Мальчишка шмыгнул в лифт, заперся и провалился вниз.

Орлиным взором окинув позицию, Коротков поколебался мгновение и с боевым кличем: «Вперед!» – вбежал в бильярдную. Замелькали зеленые площадки с лоснящимися белыми шарами и бледные лица. Снизу совсем близко бухнул в оглушительном эхо выстрел, и со звоном где-то посыпались стекла. Словно по сигналу игроки побросали кии и гуськом, топоча, кинулись в боковые двери. Коротков, метнувшись, запер за ними дверь на крюк, с треском запер входную стеклянную дверь, ведущую с лестницы в бильярдную, и вмиг вооружился шарами. Прошло несколько секунд, и возле лифта выросла первая голова за стеклом. Шар вылетел из рук Короткова, со свистом прошел через стекло, и голова мгновенно исчезла. На ее месте сверкнул бледный огонь, и выросла вторая голова, за ней – третья. Шары полетели один за другим, и стекла полопались в перегородке. Перекатывающийся стук покрыл лестницу, и в ответ ему, как оглушительная зингеровская швейка, завыл и затряс все здание пулемет. Стекла и рамы вырезало в верхней части как ножом, и тучей пудры понеслась штукатурка по всей бильярдной.

Коротков понял, что позицию удержать нельзя. Разбежавшись, закрыв голову руками, он ударил ногами в третью стеклянную стену, за которой начиналась плоская асфальтированная кровля громады. Стена треснула и высыпалась. Коротков под бушующим огнем успел выкинуть на крышу пять пирамид, и они разбежались по асфальту, как отрубленные головы. Вслед за ними выскочил Коротков, и очень вовремя, потому что пулемет взял ниже и вырезал всю нижнюю часть рамы.

– Сдавайся! – смутно донеслось до него.

Перед Коротковым сразу открылось худосочное солнце над самой головой, бледненькое небо, ветерок и промерзший асфальт. Снизу и снаружи город дал знать тревожным, смягченным гулом. Попрыгав на асфальте и оглянувшись, подхватив три шара, Коротков подскочил к парапету, влез на него и глянул вниз. Сердце его замерло. Открылись перед ним кровли домов, казавшихся приплюснутыми и маленькими, площадь, по которой ползали трамваи, и жучки-народ, и тотчас Коротков разглядел серенькие фигурки, проплясавшие к подъезду по щели переулка, а за ними тяжелую игрушку, усеянную золотыми сияющими головками.

– Окружили! – ахнул Коротков. – Пожарные.

Перегнувшись через парпет, он прицелился и пустил один за другим три шара. Они взвились, затем, описав дугу, ухнули вниз. Коротков подхватил еще одну тройку, опять влез и, размахнувшись, выпустил и их. Шары сверкнули, как серебряные, потом, снизившись, превратились в черные, потом опять засверкали и исчезли. Короткову показалось, что жучки забегали встревоженно на залитой солнцем площади. Коротков наклонился, чтобы подхватить еще порцию снарядов, но не успел. С несмолкающим хрустом и треском стекол в проломе бильярдной показались люди. Они сыпались, как горох, выскакивая на крышу. Вылетели серые фуражки, серые шинели, а через верхнее стекло, не касаясь земли, вылетел люстриновый старичок. Затем стена совсем распалась, и грозно выкатился на роликах страшный бритый Кальсонер со старинным мушкетером в руках.

– Сдавайся! – завыло спереди, сзади и сверху, и все покрыл невыносимый оглушающий кастрюльный бас.

– Кончено, – слабо прокричал Коротков, – кончено! Бой проигран. Та-та-та! – запел он губами трубный отбой.

Отвага смерти хлынула ему в душу. Цепляясь и балансируя, Коротков взобрался на столб парапета, покачнулся на нем, вытянулся во весь рост и крикнул:

– Лучше смерть, чем позор!

Преследователи были в двух шагах. Уже Коротков видел протянутые руки, уже выско-
чило пламя изо рта Кальсонера. Солнечная бездна поманила Короткова так, что у него захва-
тило дух. С пронзительным победным кликом он подпрыгнул и взлетел вверх. Вмиг перере-
зало ему дыхание. Неясно, очень неясно он видел, как серое с черными дырами, как от взрыва,
взлетело мимо него вверх. Затем очень ясно увидел, что серое упало вниз, а сам он поднялся
вверх к узкой щели переулка, которая оказалась над ним. Затем кровавое солнце со звоном
лопнуло у него в голове, и больше он ровно ничего не видал.

Альманах «Недра», кн. 4, март 1924

Роковые яйца

Глава 1

Куррикулум витэ профессора Персикова

16 апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии IV государственного университета и директор зооинститута в Москве Персиков вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся.

Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как первопричиною этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова.

Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпячена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди других странностей имел такую: когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и шурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова. А вне своей области, т. е. зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии, профессор Персиков почти ничего не говорил.

Газет профессор Персиков не читал, в театр не ходил, а жена профессора сбежала от него с тенором оперы Зимина в 1913 году, оставив ему записку такого содержания:

«Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них».

Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив, любил чай с морошкой, жил на Пречистенке, в квартире из 5 комнат, одну из которых занимала сухенькая старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором, как нянька.

В 1919 году у профессора отняли из 5 комнат 3. Тогда он заявил Марье Степановне: – Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу.

Нет сомнения, что, если бы профессор осуществил этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при кафедре зоологии в любом университете мира, ибо ученый он был совершенно первоклассный, а в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел, за исключением профессоров Уильяма Веккля в Кембридже и Джакомо Бартоломео Беккари в Риме. Читал профессор на 4 языках кроме русского, а по-французски и немецки говорил как по-русски. Намерения своего относительно заграницы Персиков не выполнил, и 20-й год вышел еще хуже 19-го. Произошли события, и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Моховой, остановились на 11 с ¼, и, наконец, в террариях зоологического института, не вынеся всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально 8 великолепных экземпляров квакшей, затем 15 обыкновенных жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы Суринамской.

Непосредственно вслед за жабами, опустошившими тот первый отряд голых гадов, который по справедливости назван классом гадов бесхвостых, переселился в лучший мир бессменный сторож института старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и ее Персиков определил сразу:

– Бескормица!

Ученый был совершенно прав: Власа нужно было кормить мукой, а жаб мучными червями, но поскольку пропала первая, постольку исчезли и вторые. Персиков оставшиеся 20 экземпляров квакш попробовал перевести на питание тараканами, но и тараканы куда-то провалились, показав свое злостное отношение к военному коммунизму. Таким образом, и последние экземпляры пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе института.

Действие смертей, и в особенности Суринамской жабы, на Персикова не поддается описанию. В смертях он целиком почему-то обвинил тогдашнего наркома просвещения.

Стоя в шапке и калошах в коридоре выставяющего института, Персиков говорил своему ассистенту Иванову, изящнейшему джентльмену с острой белокурой бородкой:

– Ведь за это же его, Петр Степанович, убить мало! Что же они делают? Ведь они ж погубят институт! А? Бесподобный самец, исключительный экземпляр Пипа американа, длиной в 13 сантиметров...

Дальше пошло хуже. По смерти Власа окна в институте промерзли насквозь, так что цветистый лед сидел на внутренней поверхности стекол. Издохли кролики, лисицы, волки, рыбы – и все до единого ужи. Персиков стал молчать целыми днями, потом заболел воспалением легких, но не умер. Когда оправился, приходил 2 раза в неделю в институт и в круглом зале, где было всегда, почему-то не изменяясь, 5 градусов мороза, независимо от того, сколько на улице, читал в калошах, в шапке с наушниками и в кашне, выдыхая белый пар, 8 слушателям цикл лекций на тему «Пресмыкающиеся жаркого пояса». Все остальное время Персиков лежал у себя на Пречистенке на диване, в комнате, до потолка набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть огненной печурки, которую золочеными стульями топила Марья Степановна, вспоминал Суринамскую жабу.

Но все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год, а в 22-м началось какое-то обратное движение. Во-первых: на месте покойного Власа появился Панкрат, еще молодой, но подающий большие надежды зоологический сторож, институт стали топить понемногу. А летом Персиков, при помощи Панкрата, на Клязьме поймал 14 штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь... В 23-м году Персиков уже читал 8 раз в неделю – 3 в институте и 5 в университете, в 24-м году 13 раз в неделю и, кроме того, на рабфаках, а в 25-м, весной, прославился тем, что на экзаменах срезал 76 человек студентов, и всех на голых гадах:

– Как, вы не знаете, чем отличаются голые гады от пресмыкающихся? – спрашивал Персиков. – Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они отсутствуют. Тэк-то-с. Стыдитесь. Вы, вероятно, марксист?

– Марксист, – угасая, отвечал зарезанный.

– Так вот, пожалуйста, осенью, – вежливо говорил Персиков и бодро кричал Панкрату: – Давай следующего!

Подобно тому, как амфибии оживают после долгой засухи при первом обильном дожде, ожил профессор Персиков в 1926 году, когда соединенная американо-русская компания выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской, в центре Москвы 15 пятнадцатизэтажных домов, а на окраинах 300 рабочих коттеджей, каждый на 8 квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919–1925.

Вообще это было замечательное лето в жизни Персикова, и порою он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он жался с Марьей Степановной в 2 комнатах. Теперь профессор все 5 получил обратно, расширился, расположил 2½ тысячи книг, чучела, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабинете.

Институт тоже узнать было нельзя: его покрыли кремовой краской, провели по специальному водопроводу воду в комнату гадов, сменили все стекла на зеркальные, прислали 5

новых микроскопов, стеклянные препарационные столы, шары по 2000 ламп с отраженным светом, рефлекторы, шкапы в музей.

Персиков ожил, и весь мир неожиданно узнал об этом, лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра: «Еще к вопросу о размножении бляшконосных, или хитонов». 126 стр. «Известия ГУ университета».

А в 1927-м, осенью, капитальный труд в 350 страниц, переведенный на 6 языков, в том числе японский: «Эмбриология пип, чесночниц и лягушек». Цена 3 рубля. Госиздат.

А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное...

Глава 2

Цветной завиток

Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор на длинном экспериментальном столе, надел белый халат, позвенел какими-то инструментами на столе...

Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам, и через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к Моховой трамвай 16, 22, 48 или 53-го маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабинета и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой храма Христа туманный, бледный месячный серп.

Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехногом табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел кремальеру великолепного цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амеб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на 10 тысяч, дверь приоткрылась, показались остренькая борода, кожаный нагрудник и ассистент позвал:

– Владимир Ипатьич, я установил брыжейку, не хотите ли взглянуть?

Персиков живо сполз с табурета, бросив кремальеру на полдороге, и, медленно вертя в руках папиросу, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные студяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп.

– Очень хорошо! – сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа.

Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брыжейке лягушки, где, как на ладони видные, по рекам сосудов бойко бежали живые кровяные шарики. Персиков забыл о своих амебах и в течение полутора часа по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученые перебрасывались оживленными, но непонятными простым смертным словами.

Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив:

– Сворачивается кровь, ничего не поделаешь.

Лягушка тяжело шевельнула головой, и в ее потухающих глазах были явственны слова: «Сволочи вы, вот что...»

Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся, вернулся в свой кабинет, зевнул, потер пальцами вечно воспаленные веки и, присев на табурет, заглянул в микроскоп, пальцы он наложил на кремальеру и уже собирался двинуть винт, но не двинул. Правым глазом видел Персиков мутноватый белый диск и в нем смутных бледных амеб, а посередине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков, и сотни его учеников видели очень много раз, и никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучок света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персикова, он вдруг насторожился, изумился, налился даже тревогой. Не бездарная посредственность, на горе республике, сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков! Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее, мучая и напрягая глаз над стоящим вне фокуса препаратом. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей комнате в вестибюле, и один только раз в отдалении музыкально и нежно прозвенели стекла в шкапах – это Иванов, уходя, запер свой кабинет. За ним простонала входная дверь. Потом уже послышался голос профессора. У кого он спросил – неизвестно.

– Что такое? Ничего не понимаю...

Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руки над микроскопом, так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы Персиков двинул винт, о нет, он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидел.

Было полное белое утро с золотой полосой, перерезавшей кремовое крыльцо института, когда профессор покинул микроскоп и подошел на онемевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков растопырил ноги и заговорил, уставившись в паркет слезящимися глазами:

– Но как же это так? Ведь это же чудовищно!.. Это чудовищно, господа, – повторил он, обращаясь к жабам в террарии, но жабы спали и ничего ему не ответили.

Он помолчал, потом подошел к выключателю, поднял шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. Лицо его стало напряженным, он сдвинул кустоватые желтые брови.

– Угу, угу, – пробурчал он, – пропал. Понимаю. По-онимаю, – протянул он, сумасшедше и вдохновенно глядя на погасший шар над головой, – это просто.

И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег шар. Заглянул в микроскоп, радостно и как бы хищно осклабился.

– Я его поймаю, – торжественно и важно сказал он, поднимая палец кверху, – поймаю. Может быть, и от солнца.

Опять шторы взвились. Солнце теперь было налицо. Вот оно залило стены института и косяком легло на торцах Герцена. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и наконец животом лег на подоконник.

Приступил к важной и таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел и дверь кабинета запер на английский замок.

Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно стучал в нее. Наконец за дверью послышалось урчанье как бы цепного пса, харканье и мычанье, и Панкрат в полосатых подштанниках, с завязками на щиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого, он еще легонько подвывал со сна.

– Панкрат, – сказал профессор, глядя на него поверх очков, – извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг, в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял?

– У-у-у, по-по-понял, – ответил Панкрат, ничего не поняв. Он пошатывался и рычал.

– Нет, слушай, ты проснись, Панкрат, – молвил зоолог и легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице получился испуг и некоторая тень осмысленности в глазах. – Кабинет я запер, – продолжал Персиков, – так убирать его не нужно до моего прихода. Понял?

– Слушаю-с, – прохрипел Панкрат.

– Ну вот и прекрасно, ложись спать.

Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился на постель, а профессор стал одеваться в вестибюле. Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу, затем, вспомнив про картину в микроскопе, уставился на свои калоши и несколько секунд глядел на них, словно видел их впервые. Затем левую надел и на левую хотел надеть правую, но та не полезла.

– Какая чудовищная случайность, что он меня отозвал, – сказал ученый, – иначе я его так бы и не заметил. Но что это сулит?.. Ведь это сулит черт знает что такое!..

Профессор усмехнулся, прищурился на калоши и левую снял, а правую надел.

– Боже мой. Ведь даже нельзя представить себе всех последствий... – Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной калоше. Тут же он потерял носовой платок и вышел, хлопнув тяжелой дверью. На крыльце он долго искал в карманах спичек, хлопая себя по бокам, нашел и тронулся по улице с незажженной папиросой во рту.

Ни одного человека ученый не встретил до самого храма. Там профессор, задрав голову, приковался к золотому шлему. Солнце сладостно лизало его с одной стороны.

– Как же раньше я не видал его, какая случайность?.. Тьфу, дурак, – профессор наклонился и задумался, глядя на разно обутые ноги, – гм... как же быть? К Панкрату вернуться? Нет, его не разбудишь. Бросить ее, подлую, жалко. Придется в руках нести. – Он снял калошу и брезгливо понес ее.

На стареньком автомобиле с Пречистенки выехали трое. Двое пьяненьких и на коленях у них ярко раскрашенная женщина в шелковых шароварах по моде 28-го года.

– Эх, папаша! – крикнула она низким сиповатым голосом, – что ж ты другую-то калошку пропил!

– Видно, в «Альказаре» набрался старичок, – завыл левый пьяненький, правый высунулся из автомобиля и прокричал:

– Отец, что, ночная на Волхонке открыта? Мы туда!

Профессор строго посмотрел на них поверх очков, выронил изо рта папиросу и тотчас забыл об их существовании. На Пречистенском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.

Глава 3

Персиков поймал

Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в разноцветном завитке особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко-красного цвета и из завитка выпадал, как маленькое острие, ну, скажем, с иголку, что ли.

Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд луч этот приковал наметанный глаз виртуоза.

В нем, в луче, профессор разглядел то, что было в тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непрочного дитяти, случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому, что ассистент отозвал профессора, амёбы пролежали полтора часа под действием этого луча, и получилось вот что: в то время как в диске вне луча зернистые амёбы лежали вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный заостренный меч, происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие амёбы, выпуская ложноножки, тянулись изо всех сил в красную полосу и в ней (словно волшебным образом) оживали. Какая-то сила вдохнула в них дух жизни. Они лезли стаей и боролись друг с другом за место в луче. В нем шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение. Ломая и опрокидывая все законы, известные Персикову как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой. Они разваливались на части в луче, и каждая из частей в течение 2 секунд становилась новым и свежим организмом. Эти организмы в несколько мгновений достигали роста и зрелости лишь затем, чтобы в свою очередь тотчас же дать новое поколение. В красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных валялись трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амёб, а во-вторых, отличались какой-то особенной злобой и резвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими, без преувеличения, как спруты щупальцами.

Во второй вечер профессор, осунувшийся и побледневший без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми самокрутками, изучал новое поколение амёб, а в третий день он перешел к первоисточнику, т. е. к красному лучу.

Газ тихонько шипел в горелке, опять по улице шаркало движение, и профессор, отравленный сотой папиросою, полузакрыв глаза, откинулся на спинку винтового кресла.

– Да, теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый, не исследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придется выяснить, это – получается ли он только от электричества или также и от солнца, – бормотал Персиков самому себе.

И в течение еще одной ночи это выяснилось. В три микроскопа Персиков поймал три луча, от солнца ничего не поймал и выразился так:

– Надо полагать, что в спектре солнца его нет... гм... ну, одним словом, надо полагать, что добыть его можно только от электрического света. – Он любовно поглядел на матовый шар вверху, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он все ему рассказал и показал амёб.

Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно раздавлен: как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, черт возьми! Да кем угодно, и хотя бы им, Ивановым, и действительно это чудовищно! Вы только посмотрите...

– Вы посмотрите, Владимир Ипатьич! – говорил Иванов, в ужасе прилипая глазом к окуляру, – что делается?! Они растут на моих глазах... Гляньте, гляньте...

– Я их наблюдаю уже третий день, – вдохновенно ответил Персиков.

Затем произошел между двумя учеными разговор, смысл которого сводился к следующему: приват-доцент Иванов берется соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит, Владимир Ипатьич может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка.

– Я, Петр Степанович, когда опубликую работу, напишу, что камеры сооружены вами, – вставил Персиков, чувствуя, что заминочку надо разрешить.

– О, это не важно... Впрочем, конечно...

И заминочка тотчас разрешилась. С этого времени луч поглотил и Иванова. В то время как Персиков, худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом, Иванов возился в сверкающем от ламп физическом кабинете, комбинируя линзы и зеркала. Помогал ему механик.

Из Германии, после запроса через Комиссариат просвещения, Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала, двояковыпуклые, двояковогнутые и даже какие-то выпукло-вогнутые шлифованные стекла. Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и в нее действительно уловил красный луч. И, надо отдать справедливость, уловил мастерски: луч вышел жирный, сантиметра 4 в поперечнике, острый и сильный.

1-го июня камеру установили в кабинете Персикова, и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной лучом. Опыты эти дали потрясающие результаты. В течение 2-х суток из икринок вылупились тысячи головастиков. Но этого мало, в течение одних суток головастики выросли необычайно в лягушек, и до того злых и прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вне всяких сроков метать икру и в 2 дня уже без всякого луча вывели новое поколение, и при этом совершенно бесчисленное. В кабинете ученого началось черт знает что: головастики расползались из кабинета по всему институту, в террариях и просто на полу, во всех закоулках завывали зычные хоры, как на болоте. Панкрат, и так боявшийся Персикова как огня, теперь испытывал по отношению к нему одно чувство: мертвенный ужас. Через неделю и сам ученый почувствовал, что он шалееет. Институт наполнился запахом эфира и цианистого калия, которым чуть-чуть не отравился Панкрат, не вовремя снявший маску. Разросшееся болотное поколение наконец удалось перебить ядами, кабинеты проветрить.

Иванову Персиков сказал так:

– Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумительно.

Иванов, холодный и сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном:

– Владимир Ипатьич, что же вы толкуете о мелких деталях, об дейтероплазме. Будем говорить прямо: вы открыли что-то неслыханное, – видимо, с большой потугой, но все же Иванов выдал из себя слова: – профессор Персиков, вы открыли луч жизни!

Слабая краска показалась на бледных, небритых скулах Персикова.

– Ну-ну-ну, – пробормотал он.

– Вы, – продолжал Иванов, – вы приобретете такое имя... У меня кружится голова. Вы понимаете, – продолжал он страстно, – Владимир Ипатьич, герои Уэльса по сравнению с вами просто вздор... А я-то думал, что это сказки... Вы помните его «Пищу богов»?

– Ах, это роман, – ответил Персиков.

– Ну да, Господи, известный же!..

– Я забыл его, – ответил Персиков, – помню, читал, но забыл.

– Как же вы не помните, да вы гляньте, – Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение, – ведь это же чудовищно!

Глава 4

Попадья Дроздова

Бог знает почему, Иванов ли тут был виноват, или потому, что сенсационные известия передаются сами собой по воздуху, но только в гигантской кипящей Москве вдруг заговорили о луче и о профессоре Персикове. Правда, как-то вскользь и очень туманно. Известие о чудодейственном открытии прыгало, как подстреленная птица, в светящейся столице, то исчезая, то вновь взвиваясь, до половины июня, когда на 20-й странице газеты «Известия» под заголовком «Новости науки и техники» не появилась короткая заметка, трактующая о луче. Сказано было глухо, что известный профессор IV университета изобрел луч, невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов, и что луч этот нуждается в проверке. Фамилия, конечно, была перевернута, и напечатано: «Певсиков».

Иванов принес газету и показал Персикову заметку.

– «Певсиков», – проворчал Персиков, взяв с камерой в кабинете, – и откуда эти свистуны все знают?

Увы, перевернутая фамилия не спасла профессора от событий, и они начались на другой же день, сразу нарушив всю жизнь Персикова.

Панкрат, предварительно постучавшись, явился в кабинет и вручил Персикову великолепнейшую атласную визитную карточку.

– Он тамотко, – робко прибавил Панкрат.

На карточке было напечатано изящным шрифтом:

Альфред Аркадьевич БРОНСКИЙ
Сотрудник московских журналов —
«Красный огонек», «Красный перец»,
«Красный журнал», «Красный прожектор»
и газеты «Красная вечерняя Москва».

– Гони его к чертовой матери, – монотонно сказал Персиков и смахнул карточку под стол.

Панкрат повернулся, вышел и через пять минут вернулся со страдальческим лицом и со вторым экземпляром той же карточки.

– Ты что же, смеешься? – проскрипел Персиков и стал страшен.

– Из Гепею, они говорят, – бледнея, ответил Панкрат.

Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было приписано кудрявым почерком: «Очень прошу и извиняюсь, принять меня, многоуважаемый профессор на три минуты по общественному делу печати и сотрудник сатирического журнала «Красный ворон», издания ГПУ».

– Позови-ка его сюда, – сказал Персиков и задохнулся.

Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой человек с гладковыбритым маслянистым лицом. Поражали вечно поднятые, словно у китайца, брови и под ними ни секунды не глядящие в глаза собеседнику агатовые глазки. Одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно. В узкий и длинный до колен пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные ботинки с носами, похожими на копыта. В руках молодой человек держал трость, шляпу с острым верхом и блокнот.

– Что вам надо? – спросил Персиков таким голосом, что Панкрат мгновенно ушел за дверь, – ведь вам же сказали, что я занят?

Вместо ответа молодой человек поклонился профессору два раза на левый бок и на правый, а затем его глазки колесом прошли по всему кабинету, и тотчас молодой человек поставил в блокноте знак.

– Я занят, – сказал профессор, с отвращением глядя в глазки гостя, но никакого эффекта не добился, так как глазки были неуловимы.

– Прошу тысячу раз извинения, глубокоуважаемый профессор, – заговорил молодой человек тонким голосом, – что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений.

– Какие такие объяснения по всему миру? – заныл Персиков визгливо и пожелтев, – я не обязан вам давать объяснения и ничего такого... Я занят... страшно занят.

– Над чем же вы работаете? – сладко спросил молодой человек и поставил второй знак в блокноте.

– Да я... вы что? Хотите напечатать что-то?

– Да, – ответил молодой человек и вдруг застрочил в блокноте.

– Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока я не кончу работы... тем более в этих ваших газетах... Во-вторых, откуда вы все это знаете?.. – И Персиков вдруг почувствовал, что теряется.

– Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни?

– Какой такой новой жизни? – остервенился профессор, – что вы мелете чепуху! Луч, над которым я работаю, еще далеко не исследован, и вообще ничего еще не известно! Возможно, что он повышает жизнедеятельность протоплазмы...

– Во сколько раз? – торопливо спросил молодой человек.

Персиков окончательно потерялся... «Ну тип. Ведь это черт знает что такое!»

– Что за обывательские вопросы?.. Предположим, я скажу, ну, в тысячу раз!..

В глазках молодого человека мелькнула хищная радость.

– Получаются гигантские организмы?

– Да ничего подобного! Ну, правда, организмы, полученные мною, больше обыкновенных... Ну, имеют некоторые новые свойства... Но ведь тут же главное не величина, а невероятная скорость размножения, – сказал, на свое горе, Персиков и тут же ужаснулся. Молодой человек исписал целую страницу, перелистнул ее и застрочил дальше.

– Вы же не пишете! – уже сдаваясь и чувствуя, что он в руках молодого человека, в отчаянии просипел Персиков. – Что вы такое пишете?

– Правда ли, что в течение двух суток из икры можно получить 2 миллиона головастиков?

– Из какого количества икры? – вновь взбеленясь, закричал Персиков. – Вы видели когда-нибудь икринку... ну, скажем, – квакши?

– Из полфунта? – не смущаясь, спросил молодой человек.

Персиков побагровел.

– Кто же так меряет? Тьфу! Что вы такое говорите? Ну, конечно, если взять полфунта лягушачьей икры... тогда, пожалуй... черт, ну, около этого количества, а может быть, и гораздо больше!

Бриллианты загорелись в глазах молодого человека, и он в один взмах исчеркал еще одну страницу.

– Правда ли, что это вызовет мировой переворот в животноводстве?

– Что это за газетный вопрос, – завыл Персиков, – и вообще я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мерзость!

– Вашу фотографическую карточку, профессор, убедительнейше прошу, – молвил молодой человек и захлопнул блокнот.

– Что? Мою карточку? Это в ваши журнальчики? Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете. Нет, нет, нет... И я занят... попрошу вас!..

– Хотя бы старую. И мы вам ее вернем моментально.

– Панкрат! – закричал профессор в бешенстве.

– Честь имею кланяться, – сказал молодой человек и пропал.

Вместо Панкрата послышалось за дверью странное мерное скрипенье машины, кованое постукивание в пол, и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его, механическая, нога щелкала и громыкала, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, отчего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел.

– Господин профессор, – начал незнакомец приятным сиповатым голосом, – простите простого смертного, нарушившего ваше уединение.

– Вы репортер? – спросил Персиков. – Панкрат!!

– Никак нет, господин профессор, – ответил толстяк, – позвольте представиться – капитан дальнего плавания и сотрудник газеты «Вестник промышленности» при Совете Народных Комиссаров.

– Панкрат!! – истерически закричал Персиков, и тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон. – Панкрат! – повторил профессор, – я слушаю.

– Ферцайен зи битте, херр профессор, – захрипел телефон по-немецки, – дас их штёре. Их бин митарбейгер дес «Берлинер Тагеблатс»...¹

– Панкрат! – закричал в трубку профессор, – бин моменталь зер бешефтигт унд кан зи десхальб етцт ниht емфанген!..² Панкрат!!

А на парадном ходе института в это время начались звонки.

– Кошмарное убийство на Бронной улице!! – завывали неестественные сиплые голоса, вертясь в гуще огней между колесами и вспышками фонарей на нагретой июньской мостовой, – кошмарное появление болезни кур у вдовы попадьи Дроздовой с ее портретом!.. Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова!!

Персиков мотнулся так, что чуть не попал под автомобиль на Моховой, и яростно ухватился за газету.

– 3 копейки, гражданин! – закричал мальчишка и, вжимаясь в толпу на тротуаре, вновь завыл: – «Красная вечерняя газета», открытие икс-луча!!

Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице в левом углу в смазанной рамке глянул на него лысый, с безумными и незрячими глазами и с повисшею нижнею челюстью человек, плод художественного творчества Альфреда Бронского. «В. И. Персиков, открывший загадочный красный луч», – гласила подпись под рисунком. Ниже, под заголовком «Мировая загадка», начиналась статья словами:

«Садитесь, – приветливо сказал нам маститый ученый Персиков...»

Под статьей красовалась подпись «Альфред Бронский (Алонзо)».

Зеленоватый свет взлетел над крышей университета, на небе выскочили огненные слова «Говорящая газета», и тотчас толпа запрудила Моховую.

«Садитесь!!! – завыл вдруг в рупоре на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в тысячу раз Альфреда Бронского, – приветливо сказал нам маститый ученый Персиков! – Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моего открытия...»

Тихое механическое скрипение послышалось за спиной Персикова, и кто-то потянул его за рукав. Обернувшись, он увидел желтое круглое лицо владельца механической ноги. Глаза у того были увлажнены слезами и губы вздрагивали.

¹ Извините, пожалуйста, господин профессор, что я беспокою. Я сотрудник «Берлинской Tagesblatts»... (от нем.: Verzeihen Sie, bitte, HerrProfessor, daß ich störe. Ich bin Mitarbeiter des «Berliner Tagesblatts»).

² Я сейчас очень занят и потому не могу вас принять (от нем.: Ich bin momental sehr beschäftigt und kann Sie deshalb jetzt nicht empfangen).

– Меня, господин профессор, вы не пожелали познакомить с результатами вашего изумительного открытия, – сказал он печально и глубоко вздохнул: – Пропали мои полтора червячка.

Он тоскливо глядел на крышу университета, где в черной пасти бесновался невидимый Альфред. Персикову почему-то стало жаль толстяка.

– Я, – пробормотал он, с ненавистью ловя слова с неба, – никакого «садитесь» ему не говорил! Это просто наглец необыкновенного свойства! Вы меня простите, пожалуйста, – но, право же, когда работаешь и врываются... Я не про вас, конечно, говорю...

– Может быть, вы мне, господин профессор, хоть описание вашей камеры дадите? – заискивающе и скорбно говорил механический человек, – ведь вам теперь все равно...

– Из полуфунта икры в течение 3-х дней вылупляется такое количество головастиков, что их нет никакой возможности сосчитать, – ревел невидимка в рупоре.

– Ту-ту, – глухо кричали автомобили на Моховой.

– Го-го-го... Ишь ты, го-го-го, – шуршала толпа, задирая головы.

– Каков, мерзавец? А? – дрожа от негодования, зашипел Персиков механическому человеку, – как вам это нравится? Да я жаловаться на него буду!

– Возмутительно! – согласился толстяк.

Ослепительнейший фиолетовый луч ударил в глаза профессора, и все кругом вспыхнуло – фонарный столб, кусок торцовой мостовой, желтая стена, любопытные лица.

– Это вас, господин профессор, – восхищенно шепнул толстяк и повис на рукаве профессора, как гиря. В воздухе что-то застрекотало.

– А ну их всех к черту! – тоскливо вскричал Персиков, выдираясь с гирей из толпы. – Эй, таксомотор! На Пречистенку!

Облупленная старенькая машина, конструкции 24-го года, заклокотала у тротуара, и профессор полез в ландо, стараясь отцепиться от толстяка.

– Вы мне мешаете, – шипел он и закрывался кулаками от фиолетового света.

– Читали?! Чего оруть?! Профессора Персикова с детишками зарезали на Малой Бронной!.. – кричали кругом в толпе.

– Никаких у меня детишек нету, сукины дети, – заорал Персиков и вдруг попал в фокус черного аппарата, застрелившего его в профиль, с открытым ртом и яростными глазами.

– Крх... ту... крх... ту, – закричал таксомотор и врезался в гущу.

Толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору.

Глава 5

Куриная история

В уездном заштатном городке, бывшем Троицке, а ныне Стекловке, Костромской губернии, Стекловского уезда, на крылечко домика на бывшей Соборной, а ныне Персональной улице вышла повязанная платочком женщина в сером платье с ситцевыми букетами и зарыдала. Женщина эта, вдова бывшего соборного протоиерея бывшего собора Дроздова, рыдала так громко, что вскорости из домика через улицу в окошко высунулась бабья голова в пуховом платке и воскликнула:

– Что ты, Степановна, али еще?

– Семнадцатая! – разливаясь в рыданиях, ответила бывшая Дроздова.

– Ахти-х-ти-х, – заскулила и закачала головой баба в платке, – ведь это что ж такое? Прогневался Господь, истинное слово! Да неужто ж сдохла?

– Да ты глянь, глянь, Матрена, – бормотала попадья, всхлипывая громко и тяжело, – ты глянь, что с ей!

Хлопнула серенькая покосившаяся калитка, бабьи босые ноги прошлепали по пыльным горбам улицы, и мокрая от слез попадья повела Матрену на свой птичий двор.

Надо сказать, что вдова отца протоиерея Савватия Дроздова, скончавшегося в 26-м году от антирелигиозных огорчений, не опустила рук, а основала замечательнейшее куроводство. Лишь только вдовьины дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство чуть-чуть не прекратилось, кабы не добрые люди. Они надоумили вдову подать местным властям заявление о том, что она, вдова, основывает трудовую куроводную артель. В состав артели вошла сама Дроздова, верная прислуга ее Матрешка и вдовьяина глухая племянница. Налог со вдовы сняли, и куроводство ее процвело настолько, что к 28-му году у вдовы, на пыльном дворике, окаймленном куриными домишками, ходило до 250 кур, в числе которых были даже кохинхинки. Вдовьины яйца каждое воскресенье появлялись на стекловском рынке, вдовьими яйцами торговали в Тамбове, а бывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина бывшего «Сыр и масло Чичкина» в Москве.

И вот семнадцатая по счету с утра брамапутра, любимая хохлатка, ходила по двору, и ее рвало. «Эр... рр... урл... урл го-го-го», – выдывала хохлатка и закатывала грустные глаза на солнце так, как будто видела его в последний раз. Перед носом курицы на корточках плясала член артели Матрешка с чашкой воды.

– Хохлаточка, миленькая... цып-цып-цып... испей водицы, – умоляла Матрешка и гонялась за клювом хохлатки с чашкой, но хохлатка пить не желала. Она широко раскрывала клюв, задирала голову кверху. Затем ее начинало рвать кровью.

– Господисусе! – вскричала гостя, хлопнув себя по бедрам, – это что ж такое делается? Одна резаная кровь. Никогда не видала, с места не сойти, не видала, чтобы курица, как человек, маялась животом.

Это и были последние напутственные слова бедной хохлатке. Она вдруг кувырнулась на бок, беспомощно потыкала клювом в пыль и завела глаза. Потом повернулась на спину, обе ноги задрала кверху и осталась неподвижной. Басом заплакала Матрешка, расплескав чашку, и сама попадья – председатель артели, а гостя наклонилась к ее уху и зашептала:

– Степановна, землю буду есть, что кур твоих испортили. Где ж это видано! Ведь таких и курьих болезней нет! Это твоих кур кто-то заколдовал.

– Враги жизни моей! – воскликнула попадья к небу. – Что ж они, со свету меня сжить хочут?

Словам ее ответил громкий петушиный крик, и затем из курятника выдрался как-то боком, точно беспокойный пьяница из пивного заведения, обдерганный поджарый петух. Он

зверски выкатил на них глаз, потоптался на месте, крылья распростер, как орел, но никуда не улетел, а начал бег по двору, по кругу, как лошадь на корде. На третьем круге он остановился и его стошнило, потом он стал харкать и хрипеть, наплевал вокруг себя кровавых пятен, перевернулся, и лапы его уставились к солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор. И в куриных домиках ему ответило беспокойное клохтанье, хлопанье и возня.

– Ну, не порча? – победоносно спросила гостя. – Зови отца Сергия, пушай служит.

В шесть часов вечера, когда солнце сидело низко огненной рожей между рожами молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергей, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из епитрахили. Любопытные головы людей торчали над древненьким забором и в щелях его. Скорбная попадья, приложившаяся к кресту, густо смочила канареечный рванный рубль слезами и вручила его отцу Сергию, на что тот, вздыхая, заметил что-то насчет того, что вот, мол, Господь прогневался на нас. Вид при этом у отца Сергия был такой, что он прекрасно знает, почему именно прогневался Господь, но только не скажет.

Засим толпа с улицы разошлась, а так как куры ложатся рано, то никто и не знал, что у соседа попадья Дроздовой в курятнике издохло сразу трое кур и петух. Их рвало так же, как и дроздовских кур, но только смерти произошли в запертом курятнике и тихо. Петух свалился с наместа вниз головой и в такой позиции кончился. Что касается кур вдовы, то они прикончились тотчас после молебна, и к вечеру в курятниках было мертво и тихо, лежала грудами закоченевшая птица.

Наутро город встал как громом пораженный, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На Персональной улице к полудню осталось в живых только три курицы, в крайнем домике, где снимал квартиру уездный фининспектор, но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел, как улей, и по нем катилось грозное слово «мор». Фамилия Дроздовой попала в местную газету «Красный боец» в статье под заголовком: «Неужели куриная чума?», а оттуда пронеслось в Москву.

Жизнь профессора Персикова приняла окраску странную, беспокойную и волнующую. Одним словом, работать в такой обстановке было просто невозможно. На другой день после того, как он развязался с Альфредом Бронским, ему пришлось выключить у себя в кабинете в институте телефон, снявши трубку, а вечером, проезжая в трамвае по Охотному ряду, профессор увидел самого себя на крыше огромного дома с черной надписью «Рабочая газета». Он, профессор, дробясь, и зеленея, и мигая, лез в ландо такси, а за ним, цепляясь за рукав, лез механический шар в одеяле. Профессор на крыше, на белом экране, закрывался кулаками от фиолетового луча. Засим выскочила огненная надпись: «Профессор Персиков, едучи в авто, дает объяснение нашему знаменитому репортеру капитану Степанову». И точно: мимо храма Христа, по Волхонке, проскочил зыбкий автомобиль, и в нем барахтался профессор, и физиономия у него была как у затравленного волка.

– Это какие-то черти, а не люди, – сквозь зубы пробормотал зоолог и проехал.

Того же числа вечером, вернувшись к себе на Пречистенку, зоолог получил от экономки, Марьи Степановны, 17 записок с номерами телефонов, кои звонили к нему во время его отсутствия, и словесное заявление Марьи Степановны, что она замучилась. Профессор хотел разодрать записки, но остановился, потому что против одного из номеров увидел приписку: «Народный комиссар здравоохранения».

– Что такое? – искренне недоумевал ученый чужак, – что с ними такое сделалось?

В 10¼ того же вечера раздался звонок, и профессор вынужден был беседовать с неким ослепительным по убранству гражданином. Принял его профессор благодаря визитной карточке, на которой было изображено (без имени и фамилии): «Полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике Советов».

– Черт бы его взял, – прорычал Персиков, бросил на зеленое сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал Марье Степановне: – Позовите его сюда, в кабинет, этого самого уполномоченного.

– Чем могу служить? – спросил Персиков таким тоном, что шефа несколько передернуло. Персиков пересадил очки с переносицы на лоб, затем обратно и разглядел визитера. Тот весь светился лаком и драгоценными камнями, и в правом глазу у него сидел монокль. «Какая гнусная рожа», – почему-то подумал Персиков.

Начал гость издалека, именно попросил разрешения закурить сигару, вследствие чего Персиков с большою неохотой пригласил его сесть. Далее гость произнес длинные извинения по поводу того, что он пришел поздно: «Но... господина профессора невозможно днем никак пойма... хи-хи... пардон... застать» (гость, смеясь, всхлипывал, как гиена).

– Да, я занят! – так коротко ответил Персиков, что судорога вторично прошла по гостю.

Тем не менее он позволил себе беспокоить знаменитого ученого – время – деньги, как говорится... сигара не мешает профессору?

– Мур-мур-мур, – ответил Персиков. Он позволил...

– Профессор ведь открыл луч жизни?

– Помилуйте, какой такой жизни?! Это выдумки газетчиков! – оживился Персиков.

– Ах нет, хи-хи-хэ... – он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих ученых... о чем же говорить... Сегодня есть телеграммы... В мировых городах, как то: Варшаве и Риге – уже все известно насчет луча. Имя профессора Персикова повторяет весь мир... весь мир следит за работами профессора Персикова, затаив дыхание... Но всем прекрасно известно, как тяжко положение ученых в Советской России. Антр ну суа ди...³ Здесь никого нет посторонних?... Увы, здесь не умеют ценить ученые труды, так вот, он хотел бы переговорить с профессором... Одно иностранное государство предлагает профессору Персикову, совершенно бескорыстно, помощь в его лабораторных работах. Зачем здесь метать бисер, как говорится в Священном Писании. Государству известно, как тяжко профессору пришлось в 19-м и 20-м году, во время этой, хи-хи... революции. Ну, конечно, строгая тайна... профессор ознакомит государство с результатами работы, а оно за это финансирует профессора. Ведь он построил камеру, вот интересно было бы ознакомиться с чертежами этой камеры...

И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек...

Какой-нибудь пустяк: 5000 рублей, например, задатку, профессор может получить сию же минуту... и расписки не надо... профессор даже обидит полномочного торгового шефа, если заговорит о расписке.

– Вон!!! – вдруг гаркнул Персиков так страшно, что пианино в гостиной издало звук на тонких клавишах.

Гость исчез так, что дрожащий от ярости Персиков через минуту и сам уже сомневался, был ли он, или это галлюцинация.

– Его калоши?! – выл через минуту Персиков в передней.

– Они забыли, – отвечала дрожащая Марья Степановна.

– Выкинуть их вон!

– Куда же я их выкину. Они придут за ними.

– Сдать их в домовый комитет. Под расписку. Чтоб не было духу этих калош! В комитет!

Пусть примут шпионские калоши!..

Марья Степановна, крестясь, забрала великолепные кожаные калоши и унесла их на черный ход. Там постояла за дверью, а потом спрятала калоши в кладовку.

– Сдали? – бушевал Персиков.

³ Между нами (от *франц.* *entre nous soit-dit*).

– Сдала.

– Расписку мне.

– Да, Владимир Ипатьич. Да неграмотный же председатель!..

– Сию. Секунду. Чтоб. Была. Расписка. Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется!

Марья Степановна только покрутила головой, ушла и вернулась через ¼ часа с запиской: «Получено в фонд от проф. Персикова 1 (одна) па. кало. Колесов».

– А это что?

– Жетон-с.

Персиков жетон истоптал ногами, а расписку спрятал под пресс. Затем какая-то мысль омрачила его крутой лоб. Он бросился к телефону, вытрезвонил Панкрата в институте и спросил у него: «Все ли благополучно?» Панкрат нарычал что-то такое в трубку, из чего можно было понять, что, по его мнению, все благополучно. Но Персиков успокоился только на одну минуту. Хмурясь, он уцепился за телефон и наговорил в трубку такое:

– Дайте мне эту, как ее, Лубянку. Мерси... Кому тут из вас надо сказать... у меня тут какие-то подозрительные субъекты в калошах ходят, да... Профессор IV университета Персиков...

Трубка вдруг резко оборвала разговор, Персиков отошел, ворча сквозь зубы какие-то бранные слова.

– Чай будете пить, Владимир Ипатьич? – робко осведомилась Марья Степановна, заглянув в кабинет.

– Не буду я пить никакого чаю... мур-мур-мур, и черт их всех возьми... как взбесились все равно.

Ровно через десять минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них, приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном защитном военном френче и рейтузах. На носу у него сидело, как хрустальная бабочка, пенсне. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький, страшно мрачный, был в штатском, но штатское на нем сидело так, словно оно его стесняло. Третий гость повел себя особенно, он не вошел в кабинет профессора, а остался в полутемной передней. При этом освещенный и пронизанный струями табачного дыма кабинет был ему насквозь виден. На лице этого третьего, который был тоже в штатском, красовалось дымчатое пенсне. Двое в кабинете совершенно замучили Персикова, рассматривая визитную карточку, спрашивая о пяти тысячах и заставляя описывать наружность гостя.

– Да черт его знает, – бубнил Персиков, – ну, противная физиономия. Дегенерат.

– А глаз у него не стеклянный? – спросил маленький хрипло.

– А черт его знает. Нет, впрочем, не стеклянный, бегают глаза.

– Рубинштейн? – вопросительно и тихо отнесся ангел к штатскому маленькому. Но тот хмуро и отрицательно покачал головой.

– Рубинштейн не даст без расписки, ни в коем случае, – забурчал он, – это не Рубинштейнова работа. Тут кто-то покрупнее.

История о калошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домовой конторы только несколько слов: «Государственное политическое управление сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова, с калошами», – и Колесов тотчас, бледный, появился в кабинете, держа калоши в руках.

– Васенька! – негромко окликнул ангел того, который сидел в передней. Тот вяло поднялся и, словно развинченный, припелся в кабинет. Дымчатые стекла совершенно поглотили его глаза.

– Ну? – спросил он лаконично и сонно.

– Калоши.

Дымные глаза скользнули по калошам, и при этом Персикову почудилось, что из-под стекол вбок, на одно мгновение, сверкнули вовсе не сонные, а, наоборот, изумительно колючие глаза. Но они моментально угасли.

– Ну, Васенька?

Тот, кого называли Васенькой, ответил вялым голосом:

– Ну, что тут, ну. Пеленжковского калоши.

Немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. Калоши исчезли в газетной бумаге. Крайне обрадовавшийся ангел во френче встал и начал жать руку профессору, и даже произнес маленький спич, содержание которого сводилось к следующему: это делает честь профессору... Профессор может быть спокоен... больше его никто не потревожит, ни в институте, ни дома... меры будут приняты, камеры его в совершеннейшей безопасности...

– А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли? – спросил Персиков, глядя поверх очков.

Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил... что пока, гм... конечно, это было б хорошо... о, видите ли, все-таки пресса... хотя, впрочем, такой проект уже назревает в Совете труда и обороны... честь имеем кланяться.

– А что это за каналья у меня была?

Тут все перестали улыбаться, и ангел ответил уклончиво, что это так, какой-нибудь мелкий аферист, не стоит обращать внимания... тем не менее он убедительно просит гражданина профессора держать в полной тайне происшествие сегодняшнего вечера, и гости ушли.

Персиков вернулся в кабинет, к диаграммам, но заниматься ему все-таки не пришлось. Телефон выбросил огненный кружочек, и женский голос предложил профессору, если он желает жениться на вдове интересной и пылкой, квартиру в семь комнат. Персиков завыл в трубку:

– Я вам советую лечиться у профессора Россоломо... – И получил второй звонок.

Тут Персиков немного обмяк, потому что лицо, достаточно известное, звонило из Кремля, долго и сочувственно расспрашивало Персикова о его работе и изъявило желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона, Персиков вытер лоб и трубку снял. Тогда в верхней квартире загремели страшные трубы и полетели вопли валькирий, – радиоприемник у директора суконного треста принял вагнеровский концерт в Большом театре. Персиков под вой и грохот, сыплющийся с потолка, заявил Марье Степановне, что он будет судиться с директором, что он сломает ему этот приемник, что он уедет из Москвы к чертовой матери, потому что, очевидно, задались целью его выжить вон. Он разбил лупу и лег спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавишей знаменитого пианиста, прилетевшие из Большого театра.

Сюрпризы продолжались и на следующий день. Приехав на трамвае к институту, Персиков застал на крыльце неизвестного ему гражданина в модном зеленом котелке. Тот внимательно оглядел Персикова, но не отнесся к нему ни с какими вопросами, и поэтому Персиков его стерпел. Но в передней института кроме растерянного Панкрата навстречу Персикову поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал:

– Здравствуйте, гражданин профессор.

– Что вам надо? – страшно спросил Персиков, сдирая при помощи Панкрата с себя пальто. Но котелок быстро утихомирил Персикова, нежнейшим голосом нашептав, что профессор напрасно беспокоится. Он, котелок, именно затем здесь и находится, чтобы избавить профессора от всяких назойливых посетителей... что профессор может быть спокоен не только за двери кабинета, но даже и за окна. Засим неизвестный отвернул на мгновение борт пиджака и показал профессору какой-то значок.

– Гм... однако у вас здорово поставлено дело, – промышчал Персиков и прибавил наивно: – А что вы здесь будете есть?

На это котелок усмехнулся и объяснил, что его будут сменять.

Три дня после этого прошли великолепно. Навешали профессора два раза из Кремля, да один раз были студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты порезались все до единого, и по их лицам было видно, что теперь уже Персиков возбуждает в них просто суеверный ужас.

– Поступайте в кондуктора! Вы не можете заниматься зоологией, – неслоь из кабинета.

– Строг? – спрашивал котелок у Панкрата.

– У, не приведи Бог, – отвечал Панкрат, – ежели какой-нибудь и выдержит, выходит, голубчик, из кабинета и шатается. Семь потов с него сойдет. И сейчас в пивную.

За всеми этими делишками профессор не заметил трех суток, но на четвертые его вновь вернули к действительной жизни, и причиной этого был тонкий и визгливый голос с улицы.

– Владимир Ипатьич! – прокричал голос в открытое окно кабинета с улицы Герцена. Голосу повезло: Персиков слишком переутомился за последние дни. В этот момент он как раз отдыхал, вяло и расслабленно смотрел глазами в красных кольцах и курил в кресле. Он больше не мог. И поэтому даже с некоторым любопытством он выглянул в окно и увидел на тротуаре Альфреда Бронского. Профессор сразу узнал титулованного обладателя карточки по остроконечной шляпе и блокноту. Бронский нежно и почтительно поклонился окну.

– Ах, это вы? – спросил профессор. У него не хватило сил рассердиться, и даже любопытно показалось, что такое будет дальше? Прикрытый окном, он чувствовал себя в безопасности от Альфреда. Бессменный котелок на улице немедленно повернул ухо к Бронскому. Умильнейшая улыбка расцвела у того на лице.

– Пару минуточек, дорогой профессор, – заговорил Бронский, напрягая голос с тротуара, – я только один вопросик, и чисто зоологический. Позвольте предложить?

– Предложите, – лаконически и иронически ответил Персиков и подумал: «Все-таки в этом мерзавце есть что-то американское».

– Что вы скажете за кур, дорогой профессор? – крикнул Бронский, сложив руки щитком.

Персиков изумился. Сел на подоконник, потом слез, нажал на кнопку и закричал, тыча пальцем в окно:

– Панкрат,пусти этого с тротуара.

Когда Бронский появился в кабинете, Персиков настолько простер свою ласковость, что рывкнул ему:

– Садитесь!

И Бронский, восхищенно улыбаясь, сел на винтящийся табурет.

– Объясните мне, пожалуйста, – заговорил Персиков, – вы пишете там, в этих ваших газетах?

– Точно так, – почтительно ответил Альфред.

– И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски. Что это за «пара минуточек» и «за кур»? Вы, вероятно, хотели спросить «насчет кур»?

Бронский жидко и почтительно рассмеялся:

– Валентин Петрович исправляет.

– Кто это такой Валентин Петрович?

– Заведующий литературной частью.

– Ну ладно. Я, впрочем, не филолог. В сторону вашего Петровича. Что именно вам желательно знать насчет кур?

– Вообще все, что вы скажете, профессор.

Тут Бронский вооружился карандашом. Победные искры взметнулись в глазах Персикова.

– Вы напрасно обратились ко мне, я не специалист по пернатым. Вам лучше всего было бы обратиться к Емельяну Ивановичу Португалову, в I университете. Я лично знаю весьма мало...

Бронский восхищенно улыбнулся, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. «Шутка – мало!» – черкнул он в блокноте.

– Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры, или гребенчатые... род птиц из отряда куриных. Из семейства фазановых... – заговорил Персиков громким голосом и глядя не на Бронского, а куда-то вдаль, где перед ним подразумевалась тысяча человек... – из семейства фазановых... фазианидэ. Представляют собою птиц с мясисто-кожаным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью... гм... хотя, впрочем, бывает и одна в середине подбородка... Ну, что ж еще. Крылья короткие и округленные... Хвост средней длины, несколько ступенчатый и даже, я бы сказал, крышеобразный, средние перья серпообразно изогнуты... Панкрат... принеси из модельного кабинета модель № 705, разрезной петух... впрочем, вам это не нужно?... Панкрат, не приноси модели... Повторяю вам, я не специалист, идите к Португалову. Ну-с, мне лично известно 6 видов дико живущих кур... гм... Португалов знает больше... в Индии и на Малайском архипелаге. Например, Банкивский петух, или Казинту, он водится в предгорьях Гималаев, по всей Индии, в Ассаме, в Бирме... Вилохвостый петух, или Галлус Вариус, на Ломбоке, Сумбаве и Флорес. А на острове Яве имеется замечательный петух Галлус Энеус, на юго-востоке Индии могу вам рекомендовать очень красивого Зоннератова петуха... Я вам потом покажу рисунок. Что же касается Цейлона, то на нем мы встречаем петуха Стенли, больше он нигде не водится.

Бронский сидел, вытаращив глаза, и строчил.

– Еще что-нибудь вам сообщить?

– Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней, – тихонечко шепнул Альфред.

– Гм, не специалист я... вы Португалова спросите... А впрочем... Ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриная вошь, или пухоед, блохи, куриная холера, крупозно-дифтерийное воспаление слизистых оболочек... Пневмококк, туберкулез, куриные парши... мало ли что может быть... (искры прыгали в глазах Персикова)... отравление, например, бешеницей, опухоли, английская болезнь, желтуха, ревматизм, грибок Ахорион Шенляйна... очень интересная болезнь. При заболевании им на гребне образуются маленькие пятна, похожие на плесень...

Бронский вытер пот со лба цветным носовым платком.

– А какая же, по вашему мнению, профессор, причина теперешней катастрофы?

– Какой катастрофы?

– Как, разве вы не читали, профессор? – удивился Бронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты «Известия».

– Я не читаю газет, – ответил Персиков и насунился.

– Но почему же, профессор? – нежно спросил Альфред.

– Потому что они чепуху какую-то пишут, – не задумываясь, ответил Персиков.

– Но как же, профессор, – мягко шепнул Бронский и развернул лист.

– Что такое? – спросил Персиков и даже поднялся с места. Теперь искры запрыгали в глазах у Бронского. Он подчеркнул острым лакированным пальцем невероятнейшей величины заголовок через всю страницу газеты «Куриный мор в республике».

– Как? – спросил Персиков, сдвигая на лоб очки...

Глава 6

Москва в июне 1928 года

Она светилась, огни танцевали, гасли и вспыхивали. На Театральной площади вертелись белые фонари автобусов, зеленые огни трамваев; над бывшим Мюр и Мерилизом, над десятым надстроенным на него этажом, прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам разноцветные слова: «Рабочий кредит». В сквере против Большого театра, где бил ночью разноцветный фонтан, толкалась и гудела толпа. А над Большим театром гигантский рупор завывал:

«Антикуриные прививки в Лефортовском ветеринарном институте дали блестящие результаты. Количество... куриных смертей за сегодняшнее число уменьшилось вдвое...»

Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нем, над театром вспыхивала и угасала зеленая струя, и рупор жаловался басом:

«Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриною чумой в составе наркомздрава, наркомзема, заведующего животноводством товарища Птахи-Поросюка, профессоров Персикова и Португалова... и товарища Рабиновича!.. Новые попытки интервенции!.. – хохотал и плакал, как шакал, рупор, – в связи с куриною чумой!»

Театральный проезд, Неглинный и Лубянка пылали белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами, выли сигналами, клубились пылью. Толпы народа теснились у стен у больших листов объявлений, освещенных резкими красными рефлексорами:

«Под угрозой тягчайшей ответственности воспрещается населению употреблять в пищу куриное мясо и яйца. Частные торговцы при попытках продажи их на рынках подвергаются уголовной ответственности с конфискацией всего имущества. Все граждане, владеющие яйцами, должны в срочном порядке сдать их в районные отделения милиции».

На крыше «Рабочей газеты» на экране грудой до самого неба лежали куры, и зеленоватые пожарные, дробясь и искрясь, из шлангов поливали их керосином. Затем красные волны ходили по экрану, неживой дым распухал и мотался клочьями, полз струей, выскакивала огненная надпись: «Сожжение куриных трупов на Ходынке».

Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих витрин магазинов, торгующих до 3 часов ночи, с двумя перерывами, на обед и ужин, заколоченные окна под вывесками: «Яичная торговля. За качество гарантия». Очень часто, тревожно завывая, обгоняя тяжелые автобусы, мимо милиционеров проносились шипящие машины с надписью: «Мосздравотдел. Скорая помощь».

– Обожрался еще кто-то гнилыми яйцами, – шуршали в толпе.

В Петровских линиях зелеными и оранжевыми фонарями сиял знаменитый на весь мир ресторан «Ампир», и в нем на столиках, у переносных телефонов, лежали картонные вывески, залитые пятнами ликеров: «По распоряжению Моссовета – омлета нет. Получены свежие устрицы».

В «Эрмитаже», где бусинками жалобно горели китайские фонарики в неживой, задушенной зелени, на убивающей глаза своим пронзительным светом эстраде куплетисты Шраме и Карманчиков пели куплеты, сочиненные поэтами Ардо и Аргуевым:

Ах, мама, что я буду делать
Без яиц?? —

и грохотали ногами в чечетке.

Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году, при постановке пушкинского «Бориса Годунова», когда обрушились трапеции с голыми

боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга «Куриныйдох» в постановке ученика Мейерхольда, заслуженного режиссера республики Кухтермана. Рядом, в «Аквариуме», переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом, в зелени эстрады, под гром аплодисментов, шло обозрение писателя Ленивцева «Курицыны дети». А по Тверской, с фонариками по бокам морд, шли вереницею цирковые ослики, несли на себе сияющие плакаты: «В театре Корш возобновляется «Шантеклер» Ростана».

Мальчишки-газетчики рычали и выли между колес моторов:

– Кошмарная находка в подземелье! Польша готовится к кошмарной войне!! Кошмарные опыты профессора Персикова!!

В цирке бывшего Никитина, на приятно пахнущей навозом коричневой жирной арене мертвенно-бледный клоун Бом говорил распухшему в клетчатой водянке Биму:

– Я знаю, отчего ты такой печальный!

– Отциво? – пискливо спрашивал Бим.

– Ты зарыл яйца в землю, а милиция 15-го участка их нашла.

– Га-га-га-га, – смеялся цирк так, что в жилах стыла радостно и тоскливо кровь и под стареньким куполом веяли трапеции и паутина.

– А-ап! – пронзительно кричали клоуны, и кормленая белая лошадь выносила на себе чудной красоты женщину, на стройных ногах, в малиновом трико.

Не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая на поталкивания и тихие и нежные зазывания проституток, пробирался по Моховой вдохновенный и одинокий, увенчанный неожиданною славой Персиков к огненным часам у Манежа. Здесь, не глядя кругом, поглощенный своими мыслями, он столкнулся со странным, старомодным человеком, пребольно ткнувшись пальцами прямо в деревянную кобуру револьвера, висящего у человека на поясе.

– Ах, черт! – пискнул Персиков. – Извините.

– Извиняюсь, – ответил встречный неприятным голосом, и кое-как они расцепились в людской каше. И профессор, направляясь на Пречистенку, тотчас забыл о столкновении.

Глава 7

Рокк

Неизвестно, точно ли хороши были лефортовские ветеринарные прививки, умели ли заградительные самарские отряды, удачны ли крутые меры, принятые по отношению к скупщикам яиц в Калуге и Воронеже, успешно ли работала чрезвычайная московская комиссия, но хорошо известно, что через две недели после последнего свидания Персикова с Альфредом в смысле кур в Союзе Республик было совершенно чисто. Кое-где в двориках уездных городков валялись куриные сиротливые перья, вызывая слезы на глазах, да в больницах поправлялись последние из жадных, доканчивая кровавый понос со рвотой. Людских смертей, к счастью, на всю республику было не более тысячи. Больших беспорядков тоже не последовало. Объявился было, правда, в Волоколамске пророк, возвестивший, что падеж на кур вызван не кем иным, как комиссарами, но особенного успеха не имел. На Волоколамском базаре побили нескольких милиционеров, отнимавших кур у баб, да выбили стекла в местном почтово-телеграфном отделении. По счастью, расторопные волоколамские власти приняли меры, в результате которых, во-первых, пророк прекратил свою деятельность, а во-вторых, стекла на телеграфе вставили.

Дойдя на Севере до Архангельска и Сьюкина Выселка, мор остановился сам собой по той причине, что идти ему дальше было некуда, – в Белом море куры, как известно, не водятся. Остановился он и во Владивостоке, ибо далее был океан. На далеком Юге – пропал и затих где-то в выжженных пространствах Ордубата, Джульфы и Карабулака, а на Западе удивительным образом задержался как раз на польской и румынской границах. Климат, что ли, там был иной или сыграли роль заградительные кордонные меры, принятые соседними правительствами, но факт тот, что мор дальше не пошел. Заграничная пресса шумно, жадно обсуждала неслыханный в истории падеж, а правительство советских республик, не поднимая никакого шума, работало не покладая рук. Чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой переименовалась в чрезвычайную комиссию по поднятию и возрождению куроводства в республике, пополнившись новой чрезвычайной тройкой, в составе шестнадцати товарищей. Был основан Доброкур, почетными товарищами председателя в который вошли Персиков и Португалов. В газетах под их портретами появились заголовки: «Массовая закупка яиц за границей» и «Господин Юз хочет сорвать яичную кампанию». Прогремел на всю Москву ядовитый фельетон журналиста Колечкина, заканчивающийся словами: «Не зарьтесь, господин Юз, на наши яйца, – у вас есть свои!»

Профессор Персиков совершенно измучился и заработался в последние три недели. Куриные события выбили его из колеи и навалили на него двойную тяжесть. Целыми вечерами ему приходилось работать в заседании куриных комиссий и время от времени выносить длинные беседы то с Альфредом Бронским, то с механическим толстяком. Пришлось вместе с профессором Португаловым и приват-доцентом Ивановым и Борнгартмом анатомировать и микроскопировать кур в поисках бациллы чумы и даже в течение трех вечеров на скорую руку написать брошюру «Об изменениях печени у кур при чуме».

Работал Персиков без особого жара в куриной области, да оно и понятно, – вся его голова была полна другим – основным и важным – тем, от чего оторвала его куриная катастрофа, т. е. от красного луча. Расстраивая свое и без того надломленное здоровье, урывая часы у сна и еды, порою не возвращаясь на Пречистенку, а засыпая на клеенчатом диване в кабинете института, Персиков ночи напролет возился у камеры и микроскопа.

К концу июля гонка несколько стихла. Дела переименованной комиссии вошли в нормальное русло, и Персиков вернулся к нарушенной работе. Микроскопы были заряжены новыми препаратами, в камере под лучом зрела со сказочной быстротой рыба и лягушачья икра. Из Кенигсберга на аэроплане привезли специально заказанные стекла, и в последних

числах июля, под наблюдением Иванова, механики соорудили две новых больших камеры, в которых луч достигал у основания ширины папиросной коробки, а в раструбе – целого метра. Персиков радостно потер руки и начал готовиться к каким-то таинственным и сложным опытам. Прежде всего он по телефону сговорился с народным комиссаром просвещения, и трубка наквала ему самое любезное и всяческое содействие, а затем Персиков по телефону же вызвал товарища Птаху-Поросюка, заведующего отделом животноводства при верховной комиссии. Встретил Персиков со стороны Птахи самое теплое внимание. Дело шло о большом заказе за границей для профессора Персикова. Птаху сказал в телефон, что он тотчас телеграфирует в Берлин и Нью-Йорк. После этого из Кремля осведомились, как у Персикова идут дела, и важный и ласковый голос спросил, не нужен ли Персикову автомобиль?

– Нет, благодарю вас. Я предпочитаю ездить в трамвае, – ответил Персиков.

– Но почему же? – спросил таинственный голос и снисходительно усмехнулся.

С Персиковым все вообще разговаривали или с почтением и ужасом, или же ласково усмехаясь, как маленькому, хоть и крупному, ребенку.

– Он быстрее ходит, – ответил Персиков, после чего звучный басок в телефон ответил:

– Ну, как хотите.

Прошла еще неделя, причем Персиков, все более отдаляясь от затихающих куриных вопросов, всецело погрузился в изучение луча. Голова его от бессонных ночей и переутомления стала светла, как бы прозрачна и легка.

Красные кольца не сходили теперь с его глаз, и почти всякую ночь Персиков ночевал в институте. Один раз он покинул зоологическое прибежище, чтобы в громадном зале Цекубу на Пречистенке сделать доклад о своем луче и о действии его на яйцеклетку. Это был гигантский триумф зоолога-чудака. В колонном зале от всплеска рук что-то сыпалось и рушилось с потолков и шипящие дуговые трубки заливали светом черные смокинги цекубистов и белые платья женщин. На эстраде, рядом с кафедрой, сидела на стеклянном столе, тяжело дыша и серея, на блюде, влажная лягушка величиною с кошку. На эстраду бросали записки. В числе их было семь любовных, и их Персиков разорвал. Его силой вытаскивал на эстраду председатель Цекубу, чтобы кланяться. Персиков кланялся раздраженно, руки у него были потные, мокрые и черный галстук сидел не под подбородком, а за левым ухом. Перед ним в дыхании и тумане были сотни желтых лиц и мужских белых грудей, и вдруг желтая кобура пистолета мелькнула и пропала где-то за белой колонной. Персиков ее смутно заметил и забыл. Но, уезжая после доклада, спускаясь по малиновому ковру лестницы, он вдруг почувствовал себя нехорошо. На миг заслонило черным яркую люстру в вестибюле, и Персикову стало смутно, тошновато... Ему почудилась гарь, показалось, что кровь течет у него липко и жарко по шее... И дрожащею рукой схватился профессор за перила.

– Вам нехорошо, Владимир Ипатьич? – набросились со всех сторон встревоженные голоса.

– Нет, нет, – ответил Персиков, оправляясь, – просто я переутомился... Да... Позвольте мне стакан воды.

Был очень солнечный августовский день. Он мешал профессору, поэтому шторы были опущены. Один гибкий на ножке рефлектор бросал пучок острого света на стеклянный стол, заваленный инструментами и стеклами. Отвалив спинку винтящегося кресла, Персиков в изнеможении курил и сквозь полосы дыма смотрел мертвыми от усталости, но довольными глазами в приоткрытую дверь камеры, где, чуть-чуть подогревая и без того душный и нечистый воздух в кабинете, тихо лежал красный сноп луча.

В дверь постучали.

– Ну? – спросил Персиков.

Дверь мягко скрипнула, и вошел Панкрат. Он сложил руки по швам и, бледнея от страха перед божеством, сказал так:

– Там до вас, господин профессор, Рокк пришел.

Подобие улыбки показалось на щеках ученого. Он сузил глазки и молвил:

– Это интересно. Только я занят.

– Они говорят, что с казенной бумагой с Кремля.

– Рок с бумагой? Редкое сочетание, – вымолвил Персиков и добавил: – Ну-ка, дай-ка его сюда!

– Слушаю-с, – ответил Панкрат и, как уж, исчез за дверью.

Через минуту она скрипнула опять, и появился на пороге человек. Персиков скрипнул на винте и устался в пришедшего поверх очков через плечо. Персиков был слишком далек от жизни – он ею не интересовался, но тут даже Персикову бросилась в глаза основная и главная черта вошедшего человека. Он был странно старомоден. В 1919 году этот человек был бы совершенно уместен на улицах столицы, он был бы терпим в 1924 году, в начале его, но в 1928 году он был странен. В то время как наиболее даже отставшая часть пролетариата – пекаря – ходили в пиджаках, когда в Москве редкостью был френч – старомодный костюм, оставленный окончательно в конце 1924 года, на вошедшем была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромный старой конструкции пистолет маузер в желтой битой кобуре. Лицо вошедшего произвело на Персикова то же впечатление, что и на всех, – крайне неприятное впечатление. Маленькие глазки смотрели на весь мир изумленно и в то же время уверенно, что-то развязное было в коротких ногах с плоскими ступнями. Лицо иссиня бритое. Персиков сразу нахмурился. Он безжалостно похрипел винтом и, глядя на вошедшего уже не поверх очков, а сквозь них, молвил:

– Вы с бумагой? Где же она?

Вошедший, видимо, был ошеломлен тем, что он увидел. Вообще он был мало способен смущаться, но тут смутился. Судя по глазкам, его поразил прежде всего шкаф в 12 полок, уходивший в потолок и битком набитый книгами. Затем, конечно, камеры, в которых, как в аду, мерцал малиновый, разбухший в стеклах луч. И сам Персиков в полутьме у острой иглы луча, выпадавшего из рефлектора, был достаточно странен и величественен в винтовом кресле. Пришелец вперил в него взгляд, в котором явственно прыгали искры почтения сквозь самоуверенность, никакой бумаги не подал, а сказал:

– Я Александр Семенович Рокк!

– Ну-с? Так что?

– Я назначен заведующим показательным совхозом «Красный луч», – пояснил пришлый.

– Ну-с?

– И вот к вам, товарищ, с секретным отношением.

– Интересно было бы узнать. Покороче, если можно.

Пришелец расстегнул борт куртки и высунул приказ, напечатанный на великолепной плотной бумаге. Его он протянул Персикову. А затем без приглашения сел на винтящийся табурет.

– Не толкните стол, – с ненавистью сказал Персиков.

Пришелец испуганно оглянулся на стол, на дальнем краю которого в сером темном отверстии мерцали безжизненно, как изумруды, чьи-то глаза. Холодом веяло от них.

Лишь только Персиков прочитал бумагу, он поднялся с табурета и бросился к телефону. Через несколько секунд он уже говорил торопливо и в крайней степени раздражения:

– Простите... Я не могу понять... Как же так? Я... без моего согласия, совета... Да ведь он черт знает что наделает!!

Тут незнакомец повернулся крайне обиженно на табурете.

– Извиняюсь, – начал он, – я завед...

Но Персиков махнул на него крючком и продолжал:

– Извините, я не могу понять... Я, наконец, категорически протестую. Я не даю своей санкции на опыты с яйцами... Пока я сам не попробую их...

Что-то квакало и постукивало в трубке, и даже издали было понятно, что голос в трубке, снисходительный, говорит с малым ребенком. Кончилось тем, что багровый Персиков с громом повесил трубку и мимо нее в стену сказал:

– Я умываю руки.

Он вернулся к столу, взял с него бумагу, прочитал ее раз сверху вниз поверх очков, затем снизу вверх сквозь очки и вдруг взвыл:

– Панкрат!

Панкрат появился в дверях, как будто поднялся по трапу в опере. Персиков глянул на него и рывкнул:

– Выйди вон, Панкрат!

И Панкрат, не выразив на своем лице ни малейшего изумления, исчез.

Затем Персиков повернулся к пришельцу и заговорил:

– Извольте-с... Повинуюсь. Не мое дело. Да мне и неинтересно.

Пришельца профессор не столько обидел, сколько изумил.

– Извиняюсь, – начал он, – вы же, товарищ?..

– Что вы все «товарищ» да «товарищ»... – хмуро пробубнил Персиков и смолк.

«Однако», – написано на лице у Рокка.

– Изви...

– Так вот-с, пожалуйста, – перебил Персиков. – Вот дуговой шар. От него вы получаете путем передвижения окуляра, – Персиков щелкнул крышкой камеры, похожей на фотографический аппарат, – пучок, который вы можете собрать путем передвижения объективов, вот № 1... и зеркало № 2, – Персиков погасил луч, опять зажег его на полу асбестовой камеры, – а на полу в луче можете разложить все, что вам нравится, и делать опыты. Чрезвычайно просто, не правда ли?

Персиков хотел выразить иронию и презрение, но пришелец их не заметил, внимательно блестящими глазками всматриваясь в камеру.

– Только предупреждаю, – продолжал Персиков, – руки не следует совать в луч, потому что, по моим наблюдениям, он вызывает разрастание эпителия... а злокачественны они или нет, я, к сожалению, еще не мог установить.

Тут пришелец проворно спрятал свои руки за спину, уронив кожаный картуз, и поглядел на руки профессора. Они были насквозь прожжены йодом, а правая у кисти забинтована.

– А как же вы, профессор?

– Можете купить резиновые перчатки у Швабе на Кузнецком, – раздраженно ответил профессор. – Я не обязан об этом заботиться.

Тут Персиков посмотрел на пришельца словно в лупу:

– Откуда вы взялись? Вообще... почему вы?..

Рокк наконец обиделся сильно.

– Извин...

– Ведь нужно же знать, в чем дело!.. Почему вы уцепились за этот луч?..

– Потому, что это величайшей важности дело...

– Ага. Величайшей? Тогда... Панкрат!

И когда Панкрат появился:

– погоди, я подумаю.

И Панкрат покорно исчез.

– Я, – говорил Персиков, – не могу понять вот чего: почему нужна такая спешность и секрет?

– Вы, профессор, меня уже сбили с панталыку, – ответил Рокк, – вы же знаете, что куры все издохли до единой.

– Ну так что из этого? – завопил Персиков, – что же, вы хотите их воскресить моментально, что ли? И почему при помощи еще не изученного луча?

– Товарищ профессор, – ответил Рокк, – вы меня, честное слово, сбиваете. Я вам говорю, что нам необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей пишут про нас всякие гадости. Да.

– И пусть себе пишут...

– Ну, знаете, – загадочно ответил Рокк и покрутил головой.

– Кому, желал бы я знать, пришла в голову мысль растить кур из яиц...

– Мне, – ответил Рокк.

– Угу... Тэк-с... А почему, позвольте узнать? Откуда вы узнали о свойствах луча?

– Я, профессор, был на вашем докладе.

– Я с яйцами еще ничего не делал!.. Только собираюсь!

– Ей-богу, выйдет, – убедительно вдруг и задушевно сказал Рокк, – ваш луч такой знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цыплят.

– Знаете что, – молвил Персиков, – вы не зоолог? нет? жаль... из вас вышел бы очень смелый экспериментатор... Да... только вы рискуете... получить неудачу... и только у меня отнимаете время...

– Мы вам вернем камеры. Что значит?..

– Когда?

– Да вот я выведу первую партию.

– Как вы это уверенно говорите! Хорошо-с. Панкрат!

– У меня есть с собой люди, – сказал Рокк, – и охрана...

К вечеру кабинет Персикова осиротел... Опустили столы.

Люди Рокка увезли три больших камеры, оставив профессору только первую, его маленькую, с которой он начинал опыты.

Надвигались июльские сумерки, серость овладела институтом, потекла по коридорам. В кабинете слышались монотонные шаги – это Персиков, не зажигая огня, мерил большую комнату от окна к дверям. Странное дело: в этот вечер необъяснимо тоскливое настроение овладело людьми, населяющими институт, и животными. Жабы почему-то подняли особенно тоскливый концерт и стрекотали зловеще и предостерегающе. Панкрату пришлось ловить в коридорах ужа, который ушел из своей камеры, и, когда он его поймал, вид у ужа был такой, словно тот собрался куда глаза глядят, лишь бы только уйти.

В глубоких сумерках прозвучал звонок из кабинета Персикова. Панкрат появился на пороге. И увидел странную картину. Ученый стоял одиноко посреди кабинета и глядел на столы. Панкрат кашлянул и замер.

– Вот, Панкрат, – сказал Персиков и указал на опустевший стол.

Панкрат ужаснулся. Ему показалось, что глаза у профессора в сумерках заплаканы. Это было так необыкновенно, так страшно.

– Так точно, – плаксиво ответил Панкрат и подумал: «Лучше б ты уж наорал на меня!»

– Вот, – повторил Персиков, и губы у него дрогнули точно так же, как у ребенка, у которого отняли ни с того ни с сего любимую игрушку.

– Ты знаешь, дорогой Панкрат, – продолжал Персиков, отворачиваясь к окну, – жена-то моя, которая уехала пятнадцать лет назад, в оперетку она поступила, а теперь умерла, оказывается... Вот история, Панкрат, милый... Мне письмо прислали...

Жабы кричали жалобно, и сумерки одевали профессора, вот она... ночь. Москва... где-то какие-то белые шары за окнами загорались... Панкрат, растерявшись, тосковал, держал от страха руки по швам...

– Иди, Панкрат, – тяжело вымолвил профессор и махнул рукой, – ложись спать, миленький, голубчик, Панкрат.

И наступила ночь. Панкрат выбежал из кабинета почему-то на цыпочках, прибежал в свою каморку, разрыл тряпье в углу, вытащил из-под него початую бутылку русской горькой и разом выхлюпнул около чайного стакана. Закусил хлебом с солью, и глаза его несколько повеселели.

Поздним вечером, уже ближе к полуночи, Панкрат, сидя босиком на скамье в скупо освещенном вестибюле, говорил бессонному дежурному котелку, почесывая грудь под ситцевой рубахой:

– Лучше б убил, ей-бо...

– Неужто плакал? – с любопытством спрашивал котелок.

– Ей... бо... – уверял Панкрат.

– Великий ученый, – согласился котелок, – известно, лягушка жены не заменит.

– Никак, – согласился Панкрат.

Потом он подумал и добавил:

– Я свою бабу подумываю выписать сюды... чего ей, в самом деле, в деревне сидеть...

Только она гадов этих не выносит нипочем...

– Что говорить, пакость ужаснейшая, – согласился котелок.

Из кабинета ученого не слышно было ни звука. Да и света в нем не было. Не было полоски под дверью.

Глава 8

История в совхозе

Положительно нет прекраснее времени, нежели зрелый август в Смоленской хотя бы губернии. Лето 1928 года было, как известно, отличнейшее, с дождями весной вовремя, с полным жарким солнцем, с отличным урожаем... Яблоки в бывшем имении Шереметевых зрели... леса зеленели, желтизной квадратов лежали поля... Человек-то лучше становится на лоне природы. И не так уже неприятен показался бы Александр Семенович, как в городе. И куртки противной на нем не было. Лицо его медно загорело, ситцевая расстегнутая рубашка показывала грудь, поросшую густейшим черным волосом, на ногах были парусиновые штаны. И глаза его успокоились и подобрели.

Александр Семенович оживленно сбежал с крыльца с колоннадой, на коей была прибита вывеска под звездой:

СОВХОЗ «КРАСНЫЙ ЛУЧ»

и прямо к автомобилю-полугрузовичку, привезшему три черных камеры под охраной.

Весь день Александр Семенович хлопотал со своими помощниками, устанавливая камеры в бывшем зимнем саду – оранжерее Шереметевых... К вечеру все было готово. Под стеклянным потолком загорелся белый матовый шар, на кирпичках устанавливали камеры, и механик, приехавший с камерами, пощелкав и повертев блестящие винты, зажег на асбестовом полу в черных ящиках красный таинственный луч.

Александр Семенович хлопотал, сам влезал на лестницу, проверяя провода.

На следующий день вернулся со станции тот же полугрузовичок и выплюнул три ящика великолепной гладкой фанеры, кругом оклеенной ярлыками и белыми по черному фону надписями:

VORSICHT: EIER!!

ОСТОРОЖНО: ЯЙЦА!!

– Что же так мало прислали? – удивился Александр Семенович, однако тотчас захлопотался и стал распаковывать яйца. Распаковывание происходило все в той же оранжерее, и принимали в нем участие: сам Александр Семенович, его необыкновенной толщины жена Маня, кривой бывший садовник бывших Шереметевых, а ныне служащий в совхозе на универсальной должности сторожа, охранитель, обреченный на житье в совхозе, и уборщица Дуня. Это не Москва, и все здесь носило более простой, семейный и дружественный характер. Александр Семенович распоряжался, любовно посматривая на ящики, выглядевшие таким солидным компактным подарком под нежным закатным светом верхних стекол оранжереи. Охранитель, винтовка которого мирно дремала у дверей, клещами взламывал скрепы и металлические обшивки. Стоял треск... Сыпалась пыль. Александр Семенович, шлепая сандалиями, суетился возле ящиков.

– Вы потише, пожалуйста, – говорил он охранителю. – Осторожнее. Что ж вы, не видите – яйца?..

– Ничего, – хрипел уездный воин, буравя, – сейчас...

Тр-р-р... и сыпалась пыль.

Яйца оказались упакованными превосходно: под деревянной крышкой был слой парафиновой бумаги, затем промокательной, затем следовал плотный слой стружек, затем опилки, и в них замелькали белые головки яиц.

– Заграничной упаковочки, – любовно говорил Александр Семенович, роясь в опилках, – это вам не то что у нас. Маня, осторожнее, ты их побьешь.

– Ты, Александр Семенович, сдурел, – отвечала жена, – какое золото, подумаешь. Что я, никогда яиц не видала? Ой!.. какие большие!

– Заграница, – говорил Александр Семенович, выкладывая яйца на деревянный стол, – разве это наши мужицкие яйца... Все, вероятно, брамапутры, черт их возьми! немецкие...

– Известное дело, – подтверждал охранитель, любуясь яйцами.

– Только не понимаю, чего они грязные, – говорил задумчиво Александр Семенович... – Маня, ты присматривай. Пускай дальше выгружают, а я иду на телефон.

И Александр Семенович отправился на телефон в контору совхоза через двор.

Вечером в кабинете зоологического института затрещал телефон. Профессор Персииков взъерошил волосы и подошел к аппарату.

– Ну? – спросил он.

– С вами сейчас будет говорить провинция, – тихо с шипением отозвалась трубка женским голосом.

– Ну. Слушаю, – брезгливо спросил Персииков в черный рот телефона... В том что-то щелкало, а затем дальний мужской голос сказал в ухо встревоженно:

– Мыть ли яйца, профессор?

– Что такое? Что? Что вы спрашиваете? – раздражился Персииков. – Откуда говорят?

– Из Никольского, Смоленской губернии, – ответила трубка.

– Ничего не понимаю. Никакого Никольского не знаю. Кто это?

– Рокк, – сурово сказала трубка.

– Какой Рокк? Ах да... это вы... так вы что спрашиваете?

– Мыть ли их?.. Прислали из-за границы мне партию курьих яиц...

– Ну?

– ...А они в грязюке в какой-то...

– Что-то вы путаете... Как они могут быть в «грязюке», как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть немного... помет присох... или что-нибудь еще...

– Так не мыть?

– Конечно, не нужно... Вы что, хотите уже заряжать яйцами камеры?

– Заряжаю. Да, – ответила трубка.

– Гм, – хмыкнул Персииков.

– Пока, – цокнула трубка и стихла.

– «Пока», – с ненавистью повторил Персииков приват-доценту Иванову, – как вам нравится этот тип, Петр Степанович?

Иванов рассмеялся:

– Это он? Воображаю, что он там напечет из этих яиц.

– Д... д... д... – заговорил Персииков злобно, – вы вообразите, Петр Степанович... ну, прекрасно... очень возможно, что на дейтероплазму куриного яйца луч окажет такое же действие, как и на плазму голых. Очень возможно, что куры у него вылупятся. Но ведь ни вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут... может быть, они ни к черту не годные куры. Может быть, они подохнут через два дня. Может быть, их есть нельзя! А разве я поручусь, что они будут стоять на ногах. Может быть, у них кости ломкие. – Персииков вошел в азарт и махал ладонью и загибал пальцы.

– Совершенно верно, – согласился Иванов.

– Вы можете поручиться, Петр Степанович, что они дадут поколение? Может быть, этот тип выведет стерильных кур. Догонит их до величины собаки, а потомства от них жди потом до второго пришествия.

– Нельзя поручиться, – согласился Иванов.

– И какая развязность, – расстраивал сам себя Персииков, – бойкость какая-то! И ведь заметьте, что этого прохвоста мне же поручено инструктировать. – Персииков указал на бумагу,

доставленную Рокком (она валялась на экспериментальном столе) – ...а как я его буду, этого невежду, инструктировать, когда я сам по этому вопросу ничего сказать не могу.

– А отказаться нельзя было? – спросил Иванов.

Персиков побагровел, взял бумагу и показал ее Иванову. Тот прочел ее и иронически усмехнулся.

– М-да... – сказал он многозначительно.

– И ведь заметьте... Я своего заказа жду два месяца, и о нем ни слуху ни духу. А этому моментально и яйца прислали, и вообще всяческое содействие...

– Ни черта у него не выйдет, Владимир Ипатьич. И просто кончится тем, что вернут вам камеры.

– Да если бы скорее, а то ведь они же мои опыты задерживают.

– Да, вот это скверно. У меня все готово.

– Вы скафандры получили?

– Да, сегодня.

Персиков несколько успокоился и оживился.

– Угу... я думаю, мы так сделаем. Двери операционной можно будет наглухо закрыть, а окно мы откроем...

– Конечно, – согласился Иванов.

– Три шлема?

– Три. Да.

– Ну вот-с... Вы, стало быть, я, и кого-нибудь из студентов можно позвать. Дадим ему третий шлем.

– Гринмута можно.

– Это который у вас сейчас над саламандрами работает?.. Гм... он ничего... хотя, позвольте, весной он не мог сказать, как устроен плавательный пузырь у голозубых, – злопамятно добавил Персиков.

– Нет, он ничего... Он хороший студент, – заступился Иванов.

– Придется уж не поспать одну ночь, – продолжал Персиков, – только вот что, Петр Степанович, вы проверьте газ, а то черт их знает, эти Доброхимы ихние. Пришлют какую-нибудь гадость.

– Нет, нет, – и Иванов замахал руками, – вчера я уже пробовал. Нужно отдать им справедливость, Владимир Ипатьич, превосходный газ.

– Вы на ком пробовали?

– На обыкновенных жабах. Пустишь струйку – мгновенно умирают. Да, Владимир Ипатьич, мы еще так сделаем. Вы напишите отношение в Гепеу, чтобы вам прислали электрический револьвер.

– Да я не умею с ним обращаться...

– Я на себя беру, – ответил Иванов, – мы на Клязьме из него стреляли, шутки ради... там один гепеур рядом со мной жил. Замечательная штука. И просто чрезвычайно... Бьет бесшумно, шагов на сто и наповал. Мы в ворон стреляли... По-моему, даже и газа не нужно.

– Гм... это остроумная идея... Очень. – Персиков пошел в угол, взял трубку и квакнул:

– Дайте-ка мне эту, как ее... Лубянку...

Дни стояли жаркие до чрезвычайности. Над полями видно было ясно, как переливался прозрачный, жирный зной. А ночи чудные, обманчивые, зеленые. Луна светила и такую красоту навела на бывшее имение Шереметевых, что ее невозможно выразить. Дворец-совхоз, словно сахарный, светился, в парке тени дрожали, а пруды стали двуцветными пополам – косяком лунный столб, а половина бездонная тьма. В пятнах луны можно было свободно читать «Известия», за исключением шахматного отдела, набранного мелкой непарелью. Но в такие

ночи никто «Известия», понятное дело, не читал... Дуня, уборщица, оказалась в роще за совхозом, и там же оказался, вследствие совпадения, рыжеусый шофер потрепанного совхозского полугрузовичка. Что они там делали – неизвестно. Приютились они в непрочной тени вяза, прямо на разостланном кожаном пальто шофера. В кухне горела лампочка, там ужинали два огородника, а мадам Рокк в белом капоте сидела на колонной веранде и мечтала, глядя на красавицу луну.

В 10 часов вечера, когда замолкли звуки в деревне Концовке, расположенной за совхозом, идиллический пейзаж огласился прелестными нежными звуками флейты. Выразить немислимо, до чего они были уместны над рощами и бывшими колоннами шереметевского дворца. Хрупкая Лиза из «Пиковой дамы» смешала в дуэте свой голос с голосом страстной Полины и унеслась в лунную высь, как видение старого и все-таки бесконечно милого, до слез очаровывающего режима.

Угасают... Угасают... —

свистала, переливая и вздыхая, флейта.

Замерли рощи, и Дуня, гибельная, как лесная русалка, слушала, приложив щеку к жесткой, рыжей и мужественной щеке шофера.

– А хорошо дудит, сукин сын, – сказал шофер, обнимая Дуню за талию мужественной рукой.

Играл на флейте сам заведывающий совхозом Александр Семенович Рокк, и играл, нужно отдать ему справедливость, превосходно. Дело в том, что некогда флейта была специальностью Александра Семеновича. Вплоть до 1917 года он служил в известном концертном ансамбле маэстро Петухова, ежевечерне оглашающем стройными звуками фойе уютного кинематографа «Волшебные грезы» в городе Екатеринославе. Но великий 1917 год, переломивший карьеру многих людей, и Александра Семеновича повел по новым путям. Он покинул «Волшебные грезы» и пыльный звездный сатин в фойе и бросился в открытое море войны и революции, сменив флейту на губительный маузер. Его долго швыряло по волнам, неоднократно выплескивая то в Крыму, то в Москве, то в Туркестане, то даже во Владивостоке. Нужна была именно революция, чтобы вполне выявить Александра Семеновича. Выяснилось, что этот человек положительно велик, и, конечно, не в фойе «Грез» ему сидеть. Не вдаваясь в долгие подробности, скажем, что последний, 1927, и начало 28-го года застали Александра Семеновича в Туркестане, где он, во-первых, редактировал огромную газету, а засим, как местный член высшей хозяйственной комиссии, прославился своими изумительными работами по орошению туркестанского края. В 1928 году Рокк прибыл в Москву и получил вполне заслуженный отдых. Высшая комиссия той организации, билет которой с честью носил в кармане провинциально-старомодный человек, оценила его и назначила ему должность спокойную и почетную. Увы! Увы! На горе республике, кипучий мозг Александра Семеновича не потух, в Москве Рокк столкнулся с изобретением Персикова, и в номерах на Тверской «Красный Париж» родилась у Александра Семеновича идея, как при помощи луча Персикова возродить в течение месяца кур в республике. Рокка выслушали в комиссии животноводства, согласились с ним, и Рокк пришел с плотной бумагой к чудаку зоологу.

Концерт над стеклянными водами и рощами и парком уже шел к концу, как вдруг произошло нечто, которое прервало его раньше времени. Именно, в Концовке собаки, которым по времени уже следовало бы спать, подняли вдруг невыносимый лай, который постепенно перешел в общий мучительнейший вой. Вой, разрастаясь, полетел по полям, и вою вдруг ответил трескучий в миллион голосов концерт лягушек на прудах. Все это было так жутко, что показалось даже на мгновение, будто померкла таинственная колдовская ночь.

Александр Семенович оставил флейту и вышел на веранду.

- Маня. Ты слышишь? Вот проклятые собаки... Чего они, как ты думаешь, разбесились?
- Откуда я знаю? – ответила Маня, глядя на луну.
- Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички, – предложил Александр Семенович.
- Ей-богу, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами.

Отдохни ты немножко!

- Нет, Манечка, пойдем.

В оранжерее горел яркий шар. Пришла и Дуня с горящим лицом и блистающими глазами. Александр Семенович нежно открыл контрольные стекла, и все стали поглядывать внутрь камер. На белом асбестовом полу лежали правильными рядами испещренные пятнами ярко-красные яйца, в камерах было беззвучно... а шар вверху в 15 000 свечей тихо шипел...

– Эх, выведу я цыпляток! – с энтузиазмом говорил Александр Семенович, заглядывая то сбоку в контрольные прорезы, то сверху, через широкие вентиляционные отверстия, – вот увидите... Что? Не выведу?

– А вы знаете, Александр Семенович, – сказала Дуня, улыбаясь, – мужики в Концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские. Грех машиной выводить. Убить вас хотели.

Александр Семенович вздрогнул и повернулся к жене. Лицо его пожелтело.

– Ну, что вы скажете? Вот народ! Ну что вы сделаете с таким народом? А? Манечка, надо будет им собрание сделать... Завтра вызову из уезда работников. Я им сам скажу речь. Надо будет вообще тут поработать... А то это медвежий какой-то угол...

– Темнота, – молвил охранитель, расположившийся на своей шинели у двери оранжереи.

Следующий день ознаменовался страннейшими и необъяснимыми происшествиями. Утром, при первом же блеске солнца, рощи, которые приветствовали обычно светило неумолчным и мощным стрекотанием птиц, встретили его полным безмолвием. Это было замечено решительно всеми. Словно перед грозой. Но никакой грозы и в помине не было. Разговоры в совхозе приняли странный и двусмысленный для Александра Семеновича оттенок, и в особенности потому, что со слов дяди, по прозвищу Козий Зоб, известного смутьяна и мудреца из Концовки, стало известно, что якобы все птицы собрались в косяки и на рассвете убрались куда-то из Шереметева вон, на север, что было просто глупо. Александр Семенович очень расстроился и целый день потратил на то, чтобы созвониться с городом Грачевкой. Оттуда обещали Александру Семеновичу прислать дня через два ораторов на две темы – международное положение и вопрос о Доброкуре.

Вечер тоже был не без сюрпризов. Если утром умолкли рощи, показав вполне ясно, как подозрительно-неприятна тишина среди деревьев, если в полдень убрались куда-то воробьи с совхозовского двора, то к вечеру умолк пруд в Шереметевке. Это было поистине изумительно, ибо всем в окрестностях на сорок верст было превосходно известно знаменитое стрекотание шереметевских лягушек. А теперь они словно вымерли. С пруда не доносилось ни одного голоса, и беззвучно стояла осока. Нужно признаться, что Александр Семенович окончательно расстроился. Об этих происшествиях начали толковать, и толковать самым неприятным образом, т. е. за спиной Александра Семеновича.

– Действительно, это странно, – сказал за обедом Александр Семенович жене, – я не могу понять, зачем этим птицам понадобилось улетать?

– Откуда я знаю? – ответила Маня. – Может быть, от твоего луча?

– Ну, ты, Маня, обыкновеннейшая дура, – ответил Александр Семенович, бросив ложку, – ты – как мужики. При чем здесь луч?

– А я не знаю. Оставь меня в покое.

Вечером произошел третий сюрприз – опять взвыли собаки в Концовке, и ведь как! Над лунными полями стоял непрерывный стон, злобные тоскливые стенания.

Вознаградил себя несколько Александр Семенович еще сюрпризом, но уже приятным, а именно в оранжерее. В камерах начал слышаться непрерывный стук в красных яйцах. Токи... токи... токи... токи... – стучало то в одном, то в другом, то в третьем яйце.

Стук в яйцах был триумфальным стуком для Александра Семеновича. Тотчас были забыты странные происшествия в роще и на пруде. Сошлись все в оранжерее: и Маня, и Дуня, и сторож, и охранитель, оставивший винтовку у двери.

– Ну, что? Что вы скажете? – победоносно спрашивал Александр Семенович. Все с любопытством наклоняли уши к дверцам первой камеры. – Это они клювами стучат, цыплятки, – продолжал, сияя, Александр Семенович. – Не выведу цыпляток, скажете? Нет, дорогие мои. – И от избытка чувств он похлопал охранителя по плечу. – Выведу таких, что вы ахнете. Теперь мне в оба смотреть, – строго добавил он. – Чуть только начнут вылупливаться, сейчас же мне дать знать.

– Хорошо, – хором ответили сторож, Дуня и охранитель.

Таки... таки... таки... – закипало то в одном, то в другом яйце первой камеры. Действительно, картина на глазах нарождающейся новой жизни в тонкой отсвечивающей коже была настолько интересна, что все общество еще долго просидело на опрокинутых пустых ящиках, глядя, как в загадочном мерцающем свете созревали малиновые яйца. Разошлись спать довольно поздно, когда над совхозом и окрестностями разлилась зеленоватая ночь. Была она загадочна и даже, можно сказать, страшна, вероятно, потому, что нарушал ее полное молчание то и дело начинающийся беспричинный тоскливейший и ноющий вой собак в Концовке. Чего бесились проклятые псы – совершенно неизвестно.

Наутро Александра Семеновича ожидала неприятность. Охранитель был крайне сконфужен, руки прикладывал к сердцу, клялся и божился, что не спал, но ничего не заметил.

– Непонятное дело, – уверял охранитель, – я тут непричинен, товарищ Рокк.

– Спасибо вам, и от души благодарен, – распекал его Александр Семенович, – что вы, товарищ, думаете? Вас зачем приставили? Смотреть. Так вы мне и скажите, куда они делись? Ведь вылупились они? Значит, удрали. Значит, вы дверь оставили открытой да и ушли себе сами? Чтоб были мне цыплята!

– Некуда мне ходить. Что я, своего дела не знаю, – обиделся наконец воин, – что вы меня попрекаете даром, товарищ Рокк!

– Куды ж они подевались?

– Да я почему знаю, – взбесился наконец воин, – что я, их укараулю разве? Я зачем приставлен? Смотреть, чтобы камеры никто не упер, я и исполняю свою должность. Вот вам камеры. А ловить ваших цыплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у вас цыплята вылупятся, может, их на велосипеде не догонишь!

Александр Семенович несколько осекся, побурчал еще что-то и впал в состояние изумления. Дело-то на самом деле было странное. В первой камере, которую зарядили раньше всех, два яйца, помещающиеся у самого основания луча, оказались взломанными. И одно из них даже откатилось в сторону. Скорлупа валялась на асбестовом полу, в луче.

– Черт их знает, – бормотал Александр Семенович, – окна заперты, не через крышу же они улетели!

Он задрал голову и посмотрел туда, где в стеклянном переплете крыши было несколько широких дыр.

– Что вы, Александр Семенович, – крайне удивилась Дуня, – станут вам цыплята летать. Они тут где-нибудь... цып... цып... цып... – начала она кричать и заглядывать в углы оранжереи, где стояли пыльные цветочные вазоны, какие-то доски и хлам. Но никакие цыплята нигде не отзывались.

Весь состав служащих часа два бегал по двору совхоза, разыскивая проворных цыплят, и нигде ничего не нашел. День прошел крайне возбужденно. Караул камер был увеличен еще сто-

рожем, и тому был дан строжайший приказ: каждые четверть часа заглядывать в окна камер и, чуть что, звать Александра Семеновича. Охранитель сидел, насупившись, у дверей, держа винтовку между колен. Александр Семенович совершенно захлопотался и только во втором часу дня пообедал. После обеда он поспал часок в прохладной тени на бывшей оттоманке Шереметева, напился совхозовского сухарного кваса, сходил в оранжерею и убедился, что теперь там все в полном порядке.

Старик сторож лежал животом на рогоже и, мигая, смотрел в контрольное стекло первой камеры. Охранитель бодрствовал, не уходя от дверей.

Но были и новости: яйца в третьей камере, заряженные позже всех, начали как-то прицмокивать и цокать, как будто внутри их кто-то всхлипывал.

– Ух, зреют, – сказал Александр Семенович, – вот это зреют, теперь вижу. Видал? – отнесся он к сторожу.

– Да, дело замечательное, – ответил тот, качая головой и совершенно двусмысленным тоном.

Александр Семенович посидел немного у камер, но при нем никто не вылутился, он поднялся с корточек, размялся и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а только пройдет на пруд выкупаться и чтобы его, в случае чего, немедленно вызвали. Он сбегал во дворец в спальню, где стояли две узких пружинных кровати со скомканным бельем и на полу была навалена груда зеленых яблок и горы проса, приготовленного для будущих выводков, вооружился мохнатым полотенцем, а подумав, захватил с собой и флейту, с тем чтобы на досуге поиграть над водною гладью. Он бодро выбежал из дворца, пересек двор совхоза и по ивовой аллейке направился к пруду. Бодро шел Рокк, помахивая полотенцем и держа флейту под мышкой. Небо изливало зной сквозь ивы, и тело ныло и просилось в воду. На правой руке у Рокка началась заросль лопухов, в которую он, проходя, плюнул. И тотчас в глубине разлапистой путаницы послышалось шуршанье, как будто кто-то поволок бревно. Почувствовав мимолетное неприятное сосание в сердце, Александр Семенович повернул голову к заросли и посмотрел с удивлением. Пруд уже два дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смолкло, поверх лопухов мелькнула привлекательно гладь пруда и серая крыша купаленки. Несколько стрекоз мотнулись перед Александром Семеновичем. Он уже хотел повернуть к деревянным мосткам, как вдруг шорох в зелени повторился и к нему присоединилось короткое сипение, как будто высочилось масло и пар из паровоза. Александр Семенович насторожился и стал всматриваться в глухую стену сорной заросли.

– Александр Семенович, – прозвучал в этот момент голос жены Рокка, и белая ее кофточка мелькнула, скрылась и опять мелькнула в малиннике. – Подожди, я тоже пойду купаться.

Жена спешила к пруду, но Александр Семенович ничего ей не ответил, весь приковавшись к лопухам. Сероватое и оливковое бревно начало подниматься из их чащи, вырастая на глазах. Какие-то мокрые желтоватые пятна, как показалось Александру Семеновичу, усеивали бревно. Оно начало вытягиваться, изгибаясь и шевелясь, и вытянулось так высоко, что перегнало низенькую корявую иву. Затем верх бревна надломился, немного склонился, и над Александром Семеновичем оказалось что-то напоминающее по высоте электрический московский столб. Но только это что-то было раза в три толще столба и гораздо красивее его благодаря чешуйчатой татуировке. Ничего еще не понимая, но уже холодея, Александр Семенович глянул на верх ужасного столба, и сердце в нем на несколько секунд прекратило бой. Ему показалось, что мороз ударил внезапно в августовский день, а перед глазами стало так сумеречно, точно он глядел на солнце сквозь летние штаны.

На верхнем конце бревна оказалась голова. Она была сплющена, заострена и украшена желтым круглым пятном по оливковому фону. Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба. Голова сделала такое движение, словно клюнула воздух, весь столб вобрался в лопухи, и только одни глаза

остались и, не мигая, смотрели на Александра Семеновича. Тот, покрытый липким потом, произнес четыре слова, совершенно невероятных и вызванных сводящим с ума страхом. Настолько уж хороши были эти глаза между листьями.

– Что это за шутки...

Затем ему вспомнилось, что факиры... да... да... Индия... плетеная корзинка и картинка... Заклинают.

Голова вновь взвилась, и стало выходить и туловище. Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из «Евгения Онегина». Глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримую ненавистью к этой опере.

– Что ты, одурел, что играешь на жаре? – послышался веселый голос Мани, и где-то краем глаза справа уловил Александр Семенович белое пятно.

Затем истошный визг пронизал весь совхоз, разросся и взлетел, а вальс запрыгал как с перебитой ногой. Голова из зелени рванулась вперед, глаза ее покинули Александра Семеновича, отпустив его душу на покаяние. Змея приблизительно в пятнадцать аршин и толщиной в человека, как пружина, выскочила из лопухов. Туча пыли брызнула с дороги, и вальс кончился. Змея махнула мимо заведующего совхозом прямо туда, где была белая кофточка на дороге. Рокк видел совершенно отчетливо: Маня стала желто-белой, и ее длинные волосы, как проволочные, поднялись на пол-аршина над головой. Змея на глазах Рокка, раскрыв на мгновение пасть, из которой вынырнуло что-то похожее на вилку, ухватила зубами Маню, оседающую в пыль, за плечо, так что вздернула ее на аршин над землей. Тогда Маня повторила режущий предсмертный крик. Змея извернулась пятисаженным винтом, хвост ее взмел смерч, и стала Маню давить. Та больше не издала ни одного звука, и только Рокк слышал, как лопались ее кости. Высоко над землей взметнулась голова Мани, нежно прижавшись к змеиной щеке. Из рта у Мани плеснуло кровью, выскочила сломанная рука, и из-под ногтей брызнули фонтанчики крови. Затем змея, вывихнув челюсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на голову Мани и стала налезать на нее, как перчатка на палец. От змеи во все стороны било такое жаркое дыхание, что оно коснулось лица Рокка, а хвост чуть не смел его с дороги в едкой пыли. Вот тут-то Рокк и поседел. Сначала левая и потом правая половина его черной, как сапог, головы покрылась серебром. В смертной тошноте он оторвался наконец от дороги и, ничего и никого не видя, оглашая окрестности диким ревом, бросился бежать...

Глава 9

Живая каша

Агент Государственного политического управления на станции Дугино Щукин был очень храбрым человеком, он задумчиво сказал своему товарищу, рыжему Полайтису:

– Ну, что ж, поедем. А? Давай мотоцикл. – Потом помолчал и добавил, обращаясь к человеку, сидящему на лавке: – Флейту-то положите.

Но седой трясущийся человек на лавке, в помещении дугинского ГПУ, флейты не положил, а заплакал и замычал. Тогда Щукин и Полайтис поняли, что флейту нужно вынуть. Пальцы присохли к ней. Щукин, отличавшийся огромной, почти цирковой силой, стал палец за пальцем отгибать и отогнул все. Тогда флейту положили на стол.

Это было ранним солнечным утром следующего за смертью Мани дня.

– Вы поедете с нами, – сказал Щукин, обращаясь к Александру Семеновичу, – покажете нам, где и что. – Но Рокк в ужасе отстранился от него и руками закрылся, как от страшного видения.

– Нужно показать, – добавил сурово Полайтис.

– Нет, оставь его. Видишь, человек не в себе.

– Отправьте меня в Москву, – плача, попросил Александр Семенович.

– Вы разве совсем не вернетесь в совхоз?

Но Рокк вместо ответа опять заслонился руками, и ужас потек из его глаз.

– Ну, ладно, – решил Щукин, – вы действительно не в силах... Я вижу. Сейчас курьерский пройдет, с ним и поезжайте.

Затем у Щукина с Полайтисом, пока сторож станционный отпаивал Александра Семеновича водой и тот лязгал зубами по синей выщербленной кружке, произошло совещание. Полайтис полагал, что вообще ничего этого не было, а просто-напросто Рокк душевнобольной и у него была страшная галлюцинация. Щукин же склонялся к мысли, что из города Грачевки, где в настоящий момент гастролировал цирк, убежал удав-констриктор. Услышав их сомневающийся шепот, Рокк привстал. Он несколько пришел в себя и сказал, простирая руки, как библейский пророк:

– Слушайте меня. Слушайте. Что же вы не верите? Она была. Где же моя жена?

Щукин стал молчалив и серьезен и немедленно дал в Грачевку какую-то телеграмму. Третий агент, по распоряжению Щукина, стал неотступно находиться при Александре Семеновиче и должен был сопровождать его в Москву. Щукин же с Полайтисом стали готовиться к экспедиции. У них был всего один электрический револьвер, но и это уже была хорошенькая защита. Пятидесятизарядная модель 27-го года, гордость французской техники для близкого боя, была всего на сто шагов, но давала поле 2 метра в диаметре и в этом поле все живое убивала наповал. Промахнуться было очень трудно. Щукин надел блестящую электрическую игрушку, а Полайтис обыкновенный 25-зарядный поясной пулеметик, взял обоймы, и на одном мотоцикле, по утренней росе и холодку, они по шоссе покатались к совхозу. Мотоцикл простучал 20 верст, отделявших станцию от совхоза, в четверть часа (Рокк шел всю ночь, то и дело пряча, в припадках смертного страха, в придорожную траву), и, когда солнце начало значительно припекать, на пригорке, под которым вилась речка Топь, глянул сахарный с колоннами дворец в зелени. Мертвая тишина стояла вокруг. У самого подъезда к совхозу агенты обогнали крестьянина на подводе. Тот плелся не спеша, нагруженный какими-то мешками, и вскоре остался позади. Мотоциклетка пробежала по мосту, и Полайтис затрубил в рожок, чтобы вызвать кого-нибудь. Но никто и нигде не отозвался, за исключением отдаленных остервенившихся собак в Концовке. Мотоцикл, замедляя ход, подошел к воротам с позеленевшими львами. Запыленные

агенты, в желтых гетрах, соскочили, прицепили цепью с замком к переплету решетки машину и вошли во двор. Тишина их поразила.

– Эй, кто тут есть! – окликнул Щукин громко.

Но никто не отозвался на его бас. Агенты обошли двор кругом, все более удивляясь. Полайтис нахмурился. Щукин стал посматривать серьезно, все более хмуря светлые брови. Заглянули через закрытое окно в кухню и увидали, что там никого нет, но весь пол усеян белыми осколками посуды.

– Ты знаешь, что-то действительно у них случилось. Я теперь вижу. Катастрофа, – молвил Полайтис.

– Эй, кто там есть! Эй! – кричал Щукин, но ему отвечало только эхо под сводами кухни.

– Черт их знает! – ворчал Щукин. – Ведь не могла же она слопать их всех сразу. Или разбежались. Идем в дом.

Дверь во дворце с колонной верандой была открыта настежь, и в нем было совершенно пусто. Агенты прошли даже в мезонин, стучали и открывали все двери, но ничего решительно не добились, и через вымершее крыльцо они вновь вышли во двор.

– Обойдем кругом. К оранжереям, – распорядился Щукин, – все обшарим, а там можно будет протелефонировать.

По кирпичной дорожке агенты пошли, минуя клумбы, на задний двор, пересекли его и увидали блестящие стекла оранжереи.

– Погоди-ка, – заметил шепотом Щукин и отстегнул с пояса револьвер. Полайтис настожился и снял пулеметик. Станный и очень зычный звук тянулся в оранжерею и где-то за нею. Похоже было, что где-то шипит паровоз. Зау-зау... заузау... с-с-с-с... – шипела оранжерея.

– А ну-ка осторожно, – шепнул Щукин, и, стараясь не стучать каблуками, агенты придвинулись к самым стеклам и заглянули в оранжерею.

Тотчас Полайтис откинулся назад и лицо его стало бледно. Щукин открыл рот и застыл с револьвером в руке.

Вся оранжерея жила как червивая каша. Свиваясь и развиваясь в клубки, шипя и разворачиваясь, шаря и качая головами, по полу оранжереи ползали огромные змеи. Битая скорлупа валялась на полу и хрустела под их телами. Вверху бледно горел огромной силы электрический шар, и от этого вся внутренность оранжереи освещалась странным кинематографическим светом. На полу торчали три темных, словно фотографических, огромных ящика, два из них, сдвинутые и покосившиеся, потухли, а в третьем горело небольшое густо-малиновое световое пятно. Змеи всех размеров ползли по проводам, поднимались по переплетам рам, вылезали через отверстия в крыше. На самом электрическом шаре висела совершенно черная, пятнистая змея в несколько аршин, и голова ее качалась у шара, как маятник. Какие-то погремушки звякали в шипении, из оранжереи тянуло странным гниlostным, словно прудовым, запахом. И еще смутно разглядели агенты кучи белых яиц, валяющиеся в пыльных углах, и странную гигантскую голенастую птицу, лежащую неподвижно у камер, и труп в сером у двери, рядом с винтовкой.

– Назад, – крикнул Щукин и стал пятиться, левой рукою отдавливая Полайтиса и поднимая правой револьвер. Он успел выстрелить раз девять, прошипев и выбросив около оранжереи зеленоватую молнию. Звук страшно усилился, и в ответ на стрельбу Щукина вся оранжерея пришла в бешеное движение, и плоские головы замелькали во всех дырах. Гром тотчас же начал скакать по всему совхозу и играть отблесками на стенах. Чах-чах-чах-тах, – стрелял Полайтис, отступая задом. Станный четырехпалый шорох послышался сзади, и Полайтис вдруг страшно крикнул, падая навзничь. Существо на вывернутых лапах, коричнево-зеленого цвета, с громадной острой мордой, с гребенчатым хвостом, все похожее на страшных размеров ящерицу, выкатилось из-за угла сарая и, яростно перекусив ногу Полайтису, сбilo его на землю.

– Помоги, – крикнул Полайтис, и тотчас левая рука его попала в пасть и хрустнула, правой рукой он, тщетно пытаясь поднять ее, повез револьвером по земле. Щукин обернулся и заметался. Раз он успел выстрелить, но сильно взял в сторону, потому что боялся убить товарища. Второй раз он выстрелил по направлению оранжереи, потому что оттуда среди небольших змеиных морд высунулась одна огромная, оливковая и туловище выскочило прямо по направлению к нему. Этим выстрелом он гигантскую змею убил и опять, прыгая и вертясь возле Полайтиса, полумертвого уже в пасти крокодила, выбирал место, куда бы выстрелить, чтобы убить страшного гада, не тронув агента. Наконец это ему удалось. Из электроревольвера хлопнуло два раза, осветив вокруг все зеленоватым светом, и крокодил, прыгнув, вытянулся, окоченев, и выпустил Полайтиса. Кровь у того текла из рукава, текла изо рта, и он, припадая на правую, здоровую руку, тянул переломанную левую ногу. Глаза его угасали.

– Щукин... беги, – промычал он, всхлипывая.

Щукин выстрелил несколько раз по направлению оранжереи, и в ней вылетело несколько стекол. Но огромная пружина, оливковая и гибкая, сзади, выскочив из подвального окна, перескользнула двор, заняв его весь пятисаженным телом, и во мгновение обвила ноги Щукина. Его швырнуло вниз на землю, и блестящий револьвер отпрыгнул в сторону. Щукин крикнул мощно, потом задохся, потом кольца скрыли его совершенно, кроме головы. Кольцо прошло раз по голове, сдирая с нее скальп, и голова эта треснула. Больше в совхозе не послышалось ни одного выстрела. Все погасил шипящий, покрывающий звук. И в ответ ему очень далеко по ветру донесся из Концовки вой, но теперь уже нельзя было разобрать, чей это вой, собачий или человеческий.

Глава 10

Катастрофа

В ночной редакции газеты «Известия» ярко горели шары и толстый выпускающий редактор на свинцовом столе верстал вторую полосу с телеграммами «По Союзу Республик». Одна гранка попала ему на глаза, он всмотрелся в нее через пенсне и захохотал, созвал вокруг себя корректоров из корректорской и метранпажа и всем показал эту гранку. На узенькой полоске сырой бумаги было напечатано:

«Грачевка, Смоленской губернии. В уезде появилась курица величиною с лошадь и лягается, как конь. Вместо хвоста у нее буржуазные дамские перья».

Наборщики страшно хохотали.

– В мое время, – заговорил выпускающий, хихикая жирно, – когда я работал у Вани Сытина в «Русском слове», допивались до слонов. Это верно. А теперь, стало быть, до страусов.

Наборщики хохотали.

– А ведь верно, страус, – заговорил метранпаж, – что же, ставить, Иван Вонифатьевич?

– Да что ты, сдурел, – ответил выпускающий, – я удивляюсь, как секретарь пропустил, просто пьяная телеграмма.

– Попраздновали, это верно, – согласились наборщики, и метранпаж убрал со стола сообщение о страусе.

Поэтому «Известия» и вышли на другой день, содержа, как обыкновенно, массу интересного материала, но без каких бы то ни было намеков на грачевского страуса. Приват-доцент Иванов, аккуратно читающий «Известия», у себя в кабинете свернул лист «Известий», зевнув, молвил: «Ничего интересного» – и стал надевать белый халат. Через некоторое время в кабинете у него загорелись горелки и заквакали лягушки. В кабинете же профессора Персикова была кутерьма. Испуганный Панкрат стоял и держал руки по швам.

– Понял... слушаю-с, – говорил он.

Персиков запечатанный сургучом пакет вручил ему, говоря:

– Поедешь прямо в отдел животноводства к этому заведующему Птахе и скажешь ему прямо, что он – свинья. Скажи, что я так, профессор Персиков, так и сказал. И пакет ему отдай.

«Хорошенькое дело...» – подумал бледный Панкрат и убрался с пакетом.

Персиков бушевал.

– Это черт знает что такое, – скулил он, разгуливая по кабинету и потирая руки в перчатках, – это неслыханное издевательство надо мной и над зоологией. Эти проклятые куриные яйца везут грудями, а я 2 месяца не могу добиться необходимого.словно до Америки далеко! Вечная кутерьма, вечное безобразие, – он стал считать по пальцам: – ловля... ну, десять дней самое большое, ну, хорошо, – пятнадцать... ну, хорошо, двадцать, и перелет два дня, из Лондона в Берлин день... Из Берлина к нам шесть часов... какое-то неопишное безобразие...

Он яростно набросился на телефон и стал куда-то звонить.

В кабинете у него было все готово для каких-то таинственных и опаснейших опытов, лежала полосами нарезанная бумага для заклейки дверей, лежали водолазные шлемы с отводными трубками и несколько баллонов, блестящих как ртуть, с этикеткою «Доброхим, не прикасаться» и рисунком черепа со скрещенными костями.

Понадобилось по меньшей мере три часа, чтоб профессор успокоился и приступил к мелким работам. Так он и сделал. В институте он работал до одиннадцати часов вечера, и поэтому ни о чем не знал, что творится за кремowymi стенами. Ни нелепый слух, пролетевший по Москве о каких-то змеях, ни странная выкрикнутая телеграмма в вечерней газете ему оста-

лись неизвестны, потому что доцент Иванов был в Художественном театре на «Федоре Иоановиче» и, стало быть, сообщить новость профессору было некому.

Персиков около полуночи приехал на Пречистенку и лег спать, почитав еще на ночь в кровати какую-то английскую статью в журнале «Зоологический вестник», полученном из Лондона. Он спал, да спала и вся вертящаяся до поздней ночи Москва, и не спал лишь громадный серый корпус на Тверской ул. во дворе, где страшно гудели, потрясая все здание, ротационные машины «Известий».

В кабинете выпускающего происходила невероятная кутерьма и путаница. Он, совершенно бешеный, с красными глазами, метался, не зная, что делать, и посылал всех к чертовой матери. Метранпаж ходил за ним и, дыша винным духом, говорил:

– Ну что же, Иван Вонифатьевич, не беда, пускай завтра утром выпускают экстренное приложение. Не из машины же номер выдирать.

Наборщики не разошлись домой, а ходили стаями, сбивались кучками и читали телеграммы, которые шли теперь всю ночь напролет, через каждые четверть часа, становясь все чудовищнее и страннее. Острая шляпа Альфреда Вронского мелькала в ослепительном розовом свете, заливавшем типографию, и механический толстяк скрипел и ковылял, показываясь то здесь, то там. В подъезде хлопали двери и всю ночь появлялись репортеры. По всем 12 телефонам типографии звонили непрерывно, и станция почти механически подавала в ответ в загадочные трубки «занято», «занято», и на станции, перед бессонными барышнями, пели и пели сигнальные рожки...

Наборщики облепили механического толстяка, и капитан дальнего плавания говорил им:

– Аэропланы с газом придется посылать.

– Не иначе, – отвечали наборщики, – ведь это что ж такое. – Затем страшная матерная ругань перекатывалась в воздухе и чей-то визгливый голос кричал:

– Этого Персикова расстрелять надо.

– При чем тут Персиков, – отвечали из гуши, – этого сукина сына в совхозе – вот кого расстрелять.

– Охрану надо было поставить, – выкрикивал кто-то.

– Да, может, это вовсе и не яйца.

Все здание тряслось и гудело от ротационных колес, и создавалось такое впечатление, что серый неприглядный корпус полыхает электрическим пожаром.

Занявшийся день не остановил его. Напротив, только усилил, хоть и электричество погасло. Мотоциклетки одна за другой вкатывались в асфальтированный двор, вперемежку с автомобилями. Вся Москва встала, и белые листы газеты одели ее, как птицы. Листы сыпались и шуршали у всех в руках, и у газетчиков к одиннадцати часам дня не хватило номеров, несмотря на то что «Известия» выходили в этом месяце с тиражом в полтора миллиона экземпляров.

Профессор Персиков выехал с Пречистенки на автобусе и прибыл в институт. Там его ожидала новость. В вестибюле стояли аккуратно обшитые металлическими полосами деревянные ящики, в количестве трех штук, испещренные заграничными наклейками на немецком языке, и над ними царствовала одна русская меловая надпись: «Осторожно – яйца».

Бурная радость овладела профессором.

– Наконец-то, – вскричал он. – Панкрат, взламывай ящики немедленно и осторожно, чтобы не побить. Ко мне в кабинет.

Панкрат немедленно исполнил приказание, и через четверть часа в кабинете профессора, усеянном опилками и обрывками бумаги, забушевал его голос.

– Да они что же, издеваются надо мною, что ли, – выл профессор, потрясая кулаками и вертя в руках яйца, – это какая-то скотина, а не Птаха. Я не позволю смеяться надо мной. Это что такое, Панкрат?

– Яйца-с, – отвечал Панкрат горестно.

– Куриные, понимаешь, куриные, черт бы их задрал! На какого дьявола они мне нужны. Пусть посылают их этому негодяю в его совхоз!

Персиков бросился в угол к телефону, но не успел позвонить.

– Владимир Ипатьич! Владимир Ипатьич! – загремел в коридоре института голос Иванова.

Персиков оторвался от телефона, и Панкрат стрельнул в сторону, давая дорогу приват-доценту. Тот вбежал в кабинет, вопреки своему джентльменскому обычаю, не снимая серой шляпы, сидящей на затылке, и с газетным листом в руках.

– Вы знаете, Владимир Ипатьич, что случилось, – выкрикивал он и взмахнул перед лицом Персикова листом с надписью: «Экстренное приложение», посередине которого красовался яркий цветной рисунок.

– Нет, вы слушайте, что они сделали, – в ответ закричал, не слушая, Персиков, – они меня вздумали удивить куриными яйцами. Этот Птаха форменный идиот, посмотрите!

Иванов совершенно ошалел. Он в ужасе уставился на вскрытые ящики, потом на лист, затем глаза его почти выпрыгнули с лица.

– Так вот что, – задыхаясь, забормотал он, – теперь я понимаю... Нет, Владимир Ипатьич, вы только гляньте, – он мгновенно развернул лист и дрожащими пальцами указал Персикову на цветное изображение. На нем, как страшный пожарный шланг, извивалась оливковая в желтых пятнах змея, в странной смазанной зелени. Она была снята сверху, с легонькой летательной машины, осторожно скользнувшей над змеей, – кто это, по-вашему, Владимир Ипатьич?

Персиков сдвинул очки на лоб, потом передвинул их на глаза, всмотрелся в рисунок и сказал в крайнем удивлении:

– Что за черт. Это... да это анаконда, водяной удав...

Иванов сбросил шляпу, опустился на стул и сказал, выстукивая каждое слово кулаком по столу:

– Владимир Ипатьич, эта анаконда из Смоленской губернии. Что-то чудовищное. Вы понимаете, этот негодяй вывел змей вместо кур, и, вы поймите, они дали такую же самую феноменальную кладку, как лягушки!

– Что такое? – ответил Персиков, и лицо его сделалось бурым... – Вы шутите, Петр Степанович... Откуда?

Иванов онемел на мгновение, потом получил дар слова и, тыча пальцем в открытый ящик, где сверкали беленькие головки в желтых опилках, сказал:

– Вот откуда.

– Что-о?! – завыл Персиков, начиная соображать.

Иванов совершенно уверенно взмахнул двумя сжатыми кулаками и закричал:

– Будьте покойны. Они ваш заказ на змеиные и страусовые яйца переслали в совхоз, а куриные вам по ошибке.

– Боже мой... Боже мой, – повторил Персиков и, зеленея лицом, стал садиться на винтающийся табурет.

Панкрат совершенно одурел у двери, побледнел и онемел. Иванов вскочил, схватил лист и, подчеркивая острым ногтем строчку, закричал в уши профессору:

– Ну, теперь они будут иметь веселую историю!.. Что теперь будет, я решительно не представляю. Владимир Ипатьич, вы гляньте, – и он завопил вслух, вычитывая первое попавшееся место со скомканного листа... – «Змеи идут стаями в направлении Можайска... откладывая невероятные количества яиц. Яйца были замечены в Духовском уезде... Появились крокодилы и страусы. Части особого назначения... и отряды Государственного управления прекратили панику в Вязьме после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов...»

Персиков, разноцветный, иссиня-бледный, с сумасшедшими глазами, поднялся с табурета и, задыхаясь, начал кричать:

– Анаконда... анаконда... водяной удав! Боже мой! – В таком состоянии его еще никогда не видали ни Иванов, ни Панкрат.

Профессор сорвал одним взмахом галстук, оборвал пуговицы на сорочке, побагровел страшным параличным цветом и, шатаясь, с совершенно тупыми стеклянными глазами, ринулся куда-то вон. Вопль разлетелся под каменными сводами института.

– Анаконда... анаконда... – загремело эхо.

– Лови профессора! – взвизгнул Иванов Панкрату, заплясавшему от ужаса на месте. – Воды ему... у него удар.

Глава 11

Бой и смерть

Пылала бешеная электрическая ночь в Москве. Горели все огни, и в квартирах не было места, где бы не сияли лампы со сброшенными абажурами. Ни в одной квартире Москвы, насчитывающей 4 миллиона населения, не спал ни один человек, кроме неосмысленных детей. В квартирах ели и пили как попало, в квартирах что-то выкрикивали, и поминутно искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взоры в небо, во всех направлениях изрезанное прожекторами. На небе то и дело вспыхивали белые огни, отбрасывали тающие бледные конусы на Москву и исчезали и гасли. Небо беспрерывно гудело очень низким аэропланым гулом. В особенности страшно было на Тверской-Ямской. На Александровский вокзал через каждые 10 минут приходили поезда, сбитые как попало из товарных и разноклассных вагонов и даже цистерн, облепленных обезумевшими людьми, и по Тверской-Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах, ехали на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колеса. На вокзале то и дело вспыхивала трескучая тревожная стрельба поверх толпы – это воинские части останавливали панику сумасшедших, бегущих по стрелам железных дорог из Смоленской губернии на Москву. На вокзале то и дело с бешеным легким всхлипыванием вылетали стекла в окнах и выли все паровозы. Все улицы были усеяны плакатами, брошенными и растоптанными, и эти же плакаты под жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были известны, и никто их не читал. В них Москва объявлялась на военном положении. В них грозили за панику и сообщали, что в Смоленскую губернию часть за частью уже едут отряды Красной Армии, вооруженные газами. Но плакаты не могли остановить воющей ночи. В квартирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевая за углы, разматывали и сматывали какие-то узлы и чемоданы, в тщетной надежде пробраться на Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзал. Увы, все вокзалы, ведущие на север и восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты, и громадные грузовики, колыша и брэнча цепями, доверху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроконечных шлемах, ошестинившиеся во все стороны штыками, увозили запасы золотых монет из подвалов Народного комиссариата финансов и громадные ящики с надписью: «Осторожно. Третьяковская галерея». Машины рывкали и бегали по всей Москве.

Очень далеко на небе дрожал отсвет пожара, и слышались, колыша густую черноту августа, беспрерывные удары пушек.

Под утро по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная, стрекочущая копытами по торцам змея Конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воющая, как будто ожила сразу, увидав ломящиеся вперед, рассекающие расплеснутое варево безумия шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно, с надеждою, выть.

– Да здравствует Конная армия! – кричали иступленные женские голоса.

– Да здравствует! – отзывались мужчины.

– Задавят!! Давят!.. – выли где-то.

– Помогите! – кричали с тротуара.

Коробки папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги с тротуаров, какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конного строя, цепляясь за стремена и целуя их. В беспрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взводных:

– Короче повод.

Где-то пели весело и разухабисто, и с коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках. То и дело прерывая шеренги конных с открытыми лицами,

шли на конях же странные фигуры в странных чадрах, с отводными за спину трубками и с баллонами на ремнях за спиной. За ними шли громадные цистерны-автомобили, с длиннейшими рукавами и шлангами, точно на пожарных повозках, и тяжелые, раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывались шеренги конных, и шли автомобили, зашитые наглухо в серую броню, с теми же трубками, торчащими наружу, и белыми нарисованными черепами на боках с надписью «Газ». «Доброхим».

– Выручайте, братцы, – завывали с тротуаров, – бейте гадов... Спасайте Москву!

– Мать... мать... мать... – перекатывалось по рядам. Папиросы пачками прыгали в освещенном ночном воздухе, и белые зубы скалились на ошалевших людей с коней. По рядам разливалось глухое и щиплющее сердце пение:

...Ни туз, ни дама, ни валет,
Побьем мы гадов, без сомненья,
Четыре сбоку – ваших нет...

Гудящие раскаты «ура» выплывали над всей этой кашей, потому что пронесся слух, что впереди шеренг на лошади, в таком же малиновом башлыке, как и все всадники, едет ставший легендарным 10 лет назад, постаревший и поседевший командир конной громады. Толпа завывала, и в небо улетал, немного успокаивая мятущиеся сердца, гул «ура... ура...».

Институт был скупо освещен. События в него долетали только отдельными, смутными и глухими отзвуками. Раз под огненными часами близ Манежа грохнул веером залп, это расстреляли на месте мародеров, пытавшихся ограбить квартиру на Волхонке. Машинного движения на улице здесь было мало, оно все сбивалось к вокзалам. В кабинете профессора, где тускло горела одна лампа, отбрасывая пучок на стол, Персиков сидел, положив голову на руки, и молчал. Слоистый дым веял вокруг него. Луч в ящике погас. В террариях лягушки молчали, потому что уже спали. Профессор не работал и не читал. В стороне, под левым его локтем, лежал вечерний выпуск телеграмм на узкой полосе, сообщавший, что Смоленск горит весь и что артиллерия обстреливает Можайский лес по квадратам, громя залежи крокодилий яиц, разложенных во всех сырых оврагах. Сообщалось, что эскадрилья аэропланов под Вязьмой действовала весьма удачно, залил газом почти весь уезд, но что жертвы человеческие в этих пространствах неисчислимы из-за того, что население, вместо того чтобы покинуть уезды в порядке правильной эвакуации, благодаря панике металось разрозненными группами, на свой риск и страх, кидаясь куда глаза глядят. Сообщалось, что Отдельная Кавказская кавалерийская дивизия в Можайском направлении блистательно выиграла бой со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив громадные кладки страусовых яиц. При этом дивизия понесла незначительные потери. Сообщалось от правительства, что в случае, если гадов не удастся удержать в 200-верстной зоне от столицы, она будет эвакуирована в полном порядке. Служащие и рабочие должны соблюдать полное спокойствие. Правительство примет самые жестокие меры к тому, чтобы не допустить смоленской истории, в результате которой благодаря смятению, вызванному неожиданным нападением гремучих змей, появившихся в количестве нескольких тысяч, город загорелся во всех местах, где бросили горящие печи и начали безнадежный повальный исход. Сообщалось, что продовольствием Москва обеспечена по меньшей мере на полгода и что совет при главнокомандующем предпринимает срочные меры к бронировке квартир для того, чтобы вести уличные бои с гадами на самых улицах столицы, в случае, если красным армиям и аэропланам и эскадрильям не удастся удержать нашествия пресмыкающихся.

Ничего этого профессор не читал, смотрел остекленевшими глазами перед собой и курил. Кроме него только два человека были в институте – Панкрат и, то и дело заливающаяся сле-

зами, экономка Марья Степановна, бессонная уже третью ночь, которую она проводила в кабинете профессора, ни за что не желающего покинуть свой единственный оставшийся потухший ящик. Теперь Марья Степановна приютилась на клеенчатом диване, в тени в углу, и молчала в скорбной думе, глядя, как чайник с чаем, предназначенным для профессора, закипал на треножнике газовой горелки. Институт молчал, и все произошло внезапно.

С тротуара вдруг послышались ненавистные звонкие крики, так что Марья Степановна вскочила и взвизгнула. На улице замелькали огни фонарей, и отозвался голос Панкрата в вестибюле. Профессор плохо реагировал на этот шум. Он поднял на мгновение голову, пробормотал: «Ишь, как беснуются... что ж я теперь поделаю». И вновь впал в оцепенение. Но оно было нарушено. Страшно загремели кованые двери института, выходящие на Герцена, и все стены затряслись. Затем лопнул сплошной зеркальный слой в соседнем кабинете. Зазвенело и выпало стекло в кабинете профессора, и серый булыжник прыгнул в окно, развалив стеклянный стол. Лягушки шарахнулись в террариях и подняли вопль. Заметалась, завизжала Марья Степановна, бросилась к профессору, хватая его за руки и крича: «Убегайте, Владимир Ипатьич, убегайте». Тот поднялся с винтящегося стула, выпрямился и, сложив палец крючком, ответил, причем его глаза на миг приобрели прежний остренький блеск, напомнивший прежнего вдохновенного Персикова.

– Никуда я не пойду, – проговорил он, – это просто глупость, они мечутся, как сумасшедшие... Ну, а если вся Москва сошла с ума, то куда же я уйду. И, пожалуйста, перестаньте кричать. При чем здесь я. Панкрат! – позвал он и нажал кнопку.

Вероятно, он хотел, чтоб Панкрат прекратил всю суету, которой он вообще никогда не любил. Но Панкрат ничего уже не мог поделать. Грохот кончился тем, что двери института растворились и издали донеслись хлопучечки выстрелов, а потом весь каменный институт загрохотал бегом, выкриками, боем стекол. Марья Степановна вцепилась в рукав Персикова и начала его тащить куда-то, он отбил ее от себя, вытянулся во весь рост и, как был, в белом халате, вышел в коридор.

– Ну? – спросил он. Двери распахнулись, и первое, что появилось в дверях, это спина военного с малиновым шевроном и звездой на левом рукаве. Он отступал из двери, в которую напирала яростная толпа, спиной и стрелял из револьвера. Потом он бросился бежать мимо Персикова, крикнув ему:

– Профессор, спасайтесь, я больше ничего не могу сделать.

Его словам ответил визг Марьи Степановны. Военный проскочил мимо Персикова, стоящего как белое изваяние, и исчез во тьме извилистых коридоров в противоположном конце. Люди вылетели из дверей, завывая:

– Бей его! Убивай...

– Мирового злодея!

– Ты распустил гадов!

Искаженные лица, разорванные платья запрыгали в коридорах, и кто-то выстрелил. Замелькали палки. Персиков немного отступил назад, прикрыл дверь, ведущую в кабинет, где в ужасе на полу на коленях стояла Марья Степановна, распростер руки, как распятый... он не хотел пустить толпу и закричал в раздражении:

– Это форменное сумасшествие... вы совершенно дикие звери. Что вам нужно? – Завыл: – Вон отсюда! – и закончил фразу резким, всем знакомым выкриком: – Панкрат, гони их вон.

Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат, с разбитой головой, истоптанный и рваный в клочья, лежал недвижимо в вестибюле, и новые и новые толпы рвались мимо него, не обращая внимания на стрельбу милиции с улицы.

Низкий человек, на обезьяньих кривых ногах, в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившейся на сторону, опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом

палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать набок, и последним его словом было слово:

– Панкрат... Панкрат...

Ни в чем не повинную Марью Степановну убили и растерзали в кабинете, камеру, где потух луч, разнесли в клочья, в клочья разнесли террарии, перебив и истоптав обезумевших лягушек, раздробили стеклянные столы, раздробили рефлекторы, а через час институт пылал, возле него валялись трупы, оцепленные шеренгою вооруженных электрическими револьверами, и пожарные автомобили, насасывая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых, гудя, длинно выбивалось пламя.

Глава 12

Морозный бог на машине

В ночь с 19-го на 20-е августа 1928 года упал неслыханный, никем из старожилов никогда еще не отмеченный мороз. Он пришел и продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что мороз спас столицу и те безграничные пространства, которыми она владела и на которые упала страшная беда 28-го года. Конная армия под Можайском, потерявшая три четверти своего состава, начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли остановить движения мерзких пресмыкающихся, полукольцом заходивших с запада, юго-запада и юга по направлению к Москве.

Их задушил мороз. Двух суток по 18 градусов не выдержали омерзительные стаи, и в 20-х числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую нежданным холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми порою странным, нездешним невиданным рисунком, который безвестно пропавший Рокк принимал за грязюку, но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы, зародыши в них прикончены.

Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов крокодилов и змей, вызванных к жизни таинственным, родившимся на улице Герцена в гениальных глазах лучом, но они уже не были опасны, непрочные созданы гнилостных жарких тропических болот погибли в два дня, оставив на пространстве трех губерний страшное зловоние, разложение и гной.

Были долгие эпидемии, были долго повальные болезни от трупов гадов и людей, и долго еще ходила армия, но уже не снабженная газами, а саперными принадлежностями, керосиновыми цистернами и шлангами, очищая землю. Очистила, и все кончилось к весне 29-го года.

А весной 29-го года опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва, и опять по-прежнему шаркало движение механических экипажей, и над шапкою храма Христа висел, как на ниточке, лунный серп, и на месте сгоревшего в августе 28-го года двухэтажного института выстроили новый зоологический дворец, и им заведовал приват-доцент Иванов, но Персикова уже не было. Никогда не возникал перед глазами людей скорченный убедительный крючок из пальца, и никто больше не слышал скрипучего квакающего голоса. О луче и катастрофе 28-го года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персикова оделось туманом и погасло, как погас и самый открытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь получить не удалось, хоть иногда изящный джентльмен, и ныне ординарный профессор, Петр Степанович Иванов и пытался. Первую камеру уничтожила разъяренная толпа в ночь убийства Персикова. Три камеры сгорели в Никольском совхозе «Красный луч», при первом бое эскадрильи с гадами, а восстановить их не удалось. Как ни просто было сочетание стекол с зеркальными пучками света, его не скомбинировали второй раз, несмотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное кроме знания, чем обладал в мире только один человек – покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков.

Москва, 1924 г., октябрь

Путевые заметки

(Цикл рассказов)

Воспоминание...

У многих, очень многих есть воспоминания, связанные с Владимиром Ильичом, и у меня есть одно. Оно чрезвычайно прочно, и расстаться с ним я не могу. Да и как расстанешься, если каждый вечер, лишь только серые гармонии труб нальются теплом и приятная волна потечет по комнате, мне вспоминается и желтый лист моего знаменитого заявления, и вытертая кацавейка Надежды Константиновны...

Как расстанешься, если каждый вечер, лишь только нальются нити лампы в 50 свечей, и в зеленой тени абажура я могу писать и читать, в тепле, не помышляя о том, что на дворе ветерок при 18 градусах мороза.

Мыслимо ли расстаться, если, лишь только я подниму голову, встречаю над собой потолок. Правда, это отвратительный потолок – низкий, закопченный и треснувший, но все же он потолок, а не синее небо в звездах над Пречистенским бульваром, где, по точным сведениям науки, даже не 18 градусов, а 271, – и все они ниже нуля. А для того, чтобы прекратить мою литературно-рабочую жизнь, достаточно гораздо меньшего количества их. У меня же под черными фестонами паутины – 12 выше нуля, свет, и книги, и карточка жилтоварищества. А это значит, что я буду существовать столько же, сколько и весь дом. Не будет пожара – и я жив.

Но расскажу все по порядку.

* * *

Был конец 1921 года. И я приехал в Москву. Самый переезд не составил для меня особых затруднений, потому что багаж мой был совершенно компактен. Все мое имущество помещалось в ручном чемоданчике. Кроме того, на плечах у меня был бараний полушубок. Не стану описывать его. Не стану, чтобы не возбуждать в читателе чувство отвращения, которое и до сих пор терзает меня при воспоминании об этой лохматой дряни.

Достаточно сказать, что в первый же рейс по Тверской улице я шесть раз слышал за своими плечами восхищенный шепот:

– Вот это полушубочек!

Два дня я походил по Москве и, представьте, нашел место. Оно не было особенно блестящим, но и не хуже других мест: так же давали крупу и так же жалованье платили в декабре за август. И я начал служить.

И вот тут в безобразнейшей наготе предо мной встал вопрос... о комнате. Человеку нужна комната. Без комнаты человек не может жить. Мой полушубок заменял мне пальто, одеяло, скатерть и постель. Но он не мог заменить комнаты, так же как и чемоданчик. Чемоданчик был слишком мал. Кроме того, его нельзя было отапливать. И, кроме того, мне казалось неприличным, чтобы служащий человек жил в чемодане.

Я отправился в жилотдел и простоял в очереди 6 часов. В начале седьмого часа я в хвосте людей, подобных мне, вошел в кабинет, где мне сказали, что я могу получить комнату через два месяца.

В двух месяцах приблизительно 60 ночей, и меня очень интересовал вопрос, где я их проведу. Пять из этих ночей, впрочем, можно было отбросить: у меня было 5 знакомых семейств в Москве. Два раза я спал на кушетке в передней, два раза – на стульях и один раз – на газовой плите. А на шестую ночь я пошел ночевать на Пречистенский бульвар. Он очень красив, этот бульвар, в ноябре месяце, но ночевать на нем нельзя больше одной ночи в это время. Каждый, кто желает, может в этом убедиться. Ранним утром, лишь только небо над громадными куполами побледнело, я взял чемоданчик, покрывшийся серебряным инеем, и отправился на Брян-

ский вокзал. Единственно, чего я хотел после ночевки на бульваре, – это покинуть Москву. Без всякого сожаления я оставлял рыжую крупу в мешке и ноябрьское жалованье, которое мне должны были выдавать в феврале. Купола, крыши, окна и московские люди были мне ненавистны, и я шел на Брянский вокзал.

Тут и случилось нечто, которое нельзя назвать иначе как чудом. У самого Брянского вокзала я встретил своего приятеля. Я полагал, что он умер.

Но он не только не умер, он жил в Москве, и у него была отдельная комната. О, мой лучший друг! Через час я был у него в комнате.

Он сказал:

– Ночуй. Но только тебя не пропишут.

Ночью я ночевал, а днем я ходил в домовое управление и просил, чтобы меня прописали на совместное жительство.

Председатель домового комитета управления, толстый, окрашенный в самоварную краску человек в барашковой шапке и с барашковым же воротником, сидел, растопырив локти, и медными глазами смотрел на дыры моего полушубка. Члены домового управления в барашковых шапках окружали своего предводителя.

– Пожалуйста, пропишите меня, – говорил я, – ведь хозяин комнаты ничего не имеет против того, чтобы я жил в его комнате. Я очень тихий. Никому не буду мешать. Пьянствовать и стучать не буду...

– Нет, – отвечал председатель, – не пропишу. Вам не полагается жить в этом доме.

– Но где же мне жить, – спрашивал я, – где? Нельзя мне жить на бульваре.

– Это меня не касается, – отвечал председатель.

– Вылетайте, как пробка! – кричали железными голосами сообщники председателя.

– Я не пробка... я не пробка, – бормотал я в отчаянии, – куда же я вылечу? Я – человек. –

Отчаяние съело меня.

Так продолжалось пять дней, а на шестой явился какой-то хромой человек с банкой от керосина в руках и заявил, что, если я не уйду завтра сам, меня уведет милиция.

Тогда я впал в остервенение.

* * *

Ночью я зажег толстую венчальную свечу с золотой спиралью. Электричество было сломано уже неделю, и мой друг освещался свечами, при свете которых его тетка вручила свое сердце и руку его дяде. Свеча плакала восковыми слезами. Я разложил большой чистый лист бумаги и начал писать на нем нечто, начинавшееся словами: Председателю Совнаркома Владимиру Ильичу Ленину. Все, все я написал на этом листе: и как я поступил на службу, и как ходил в жилотдел, и как видел звезды при 270 градусах над храмом Христа, и как мне кричали:

– Вылетайте, как пробка.

Ночью, черной и угольной, в холоде (отопление тоже сломалось) я заснул на дырявом диване и увидел во сне Ленина. Он сидел в кресле за письменным столом в круге света от лампы и смотрел на меня. Я же сидел на стуле напротив него в своем полушубке и рассказывал про звезды на бульваре, про венчальную свечу и председателя.

– Я не пробка, нет, не пробка, Владимир Ильич.

Слезы обильно струились из моих глаз.

– Так... так... так... – отвечал Ленин.

Потом он звонил.

– Дать ему ордер на совместное жительство с его приятелем. Пусть сидит веки вечные в комнате и пишет там стихи про звезды и тому подобную чепуху. И позвать ко мне этого каналью в барашковой шапке. Я ему покажу совместное жительство.

Приводили председателя. Толстый председатель плакал и бормотал:
– Я больше не буду.

* * *

Все хохотали утром на службе, увидев лист, писанный ночью при восковых свечах.
– Вы не дойдете до него, голубчик, – сочувственно сказал мне заведующий.
– Ну так я дойду до Надежды Константиновны, – отвечал я в отчаянии, – мне теперь все равно. На Пречистенский бульвар я не пойду.

И я дошел до нее.

В три часа дня я вошел в кабинет. На письменном столе стоял телефонный аппарат. Надежда Константиновна в вытертой какой-то меховой кацавейке вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок.

– Вы что хотите? – спросила она, разглядев в моих руках знаменитый лист.

– Я ничего не хочу на свете, кроме одного – совместного жительства. Меня хотят выгнать.

У меня нет никаких надежд ни на кого, кроме Председателя Совета Народных Комиссаров. Убедительно вас прошу передать ему это заявление.

И я вручил ей мой лист.

Она прочитала его.

– Нет, – сказала она, – такую штуку подавать Председателю Совета Народных Комиссаров?

– Что же мне делать? – спросил я и уронил шапку.

Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами:

Прошу дать ордер на совместное жительство.

И подписала:

Ульянова.

Точка.

Самое главное то, что я забыл ее поблагодарить.

Забыл.

Криво надел шапку и вышел.

Забыл.

* * *

В четыре часа дня я вошел в прокуренное домовое управление. Все были в сборе.

– Как? – вскричали все. – Вы еще тут?

– Вылета...

– Как пробка? – зловеще спросил я. – Как пробка? Да?

Я вынул лист, выложил его на стол и указал пальцем на заветные слова.

Барашковые шапки склонились над листом, и мгновенно их разбил паралич. По часам, что тикали на стене, могу сказать, сколько времени он продолжался:

Три минуты.

Затем председатель ожил и завел на меня угасающие глаза:

– Улья?.. – спросил он суконым голосом.

Опять в молчании тикали часы.

– Иван Иваныч, – расслабленно молвил барашковый председатель, – выпиши им, друг, ордер на совместное жительство.

Друг Иван Иваныч взял книгу и, скребя пером, стал выписывать ордер в гробовом молчании.

* * *

Я живу. Все в той же комнате с закопченным потолком. У меня есть книги, и от лампы на столе лежит круг. 22 января он налился красным светом, и тотчас вышло в свете передо мной лицо из сонного видения – лицо с бородкой клинышком и крутые бугры лба, а за ним – в тоске и отчаянии седоватые волосы, вытертый мех на кацавейке и слово красными чернилами —

Ульянова.

Самое главное, забыл я тогда поблагодарить.

Вот оно неудобно как...

Благодарю вас, Надежда Константиновна.

Спиритический сеанс

Не стоит вызывать его! Не стоит вызывать его!
Речитатив Мефистофеля

I

Дура Ксюшка доложила:

– Там к тебе мужик пришел...

Madame Лузина вспыхнула:

– Во-первых, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты мне «ты» не говорила! Какой такой мужик?

И выплыла в переднюю.

В передней вешал фуражку на олений рог Ксаверий Антонович Лисиневич и кисло улыбался. Он слышал Ксюшкин доклад.

Madame Лузина вспыхнула вторично.

– Ах, боже! Извините, Ксаверий Антонович! Эта деревенская дура!.. Она всех так... Здравствуйте!

– О, помилуйте!.. – светски растопырил руки Лисиневич. – Добрый вечер, Зинаида Ивановна! – Он свел ноги в третью позицию, склонил голову и поднес руку madame Лузиной к губам.

Но только что он собрался бросить на madame долгий и липкий взгляд, как из двери выполз муж Павел Петрович. И взгляд угас.

– Да-а... – немедленно начал волынку Павел Петрович, – «мужик»... хе-хе! Ди-ка-ри! Форменные дикари. Я вот думаю: свобода там... Коммунизм. Помилуйте! Как можно мечтать о коммунизме, когда кругом такие Ксюшки! Мужик... Хе-хе! Вы уж извините, ради бога! Муж...

«А, дурак!» – подумала madame Лузина и перебила:

– Да что ж мы в передней?.. Пожалуйте в столовую...

– Да, милости просим в столовую, – скрепил Павел Петрович, – прошу!

Вся компания, согнувшись, пролезла под черной трубой и вышла в столовую.

– Я и говорю, – продолжал Павел Петрович, обнимая за талию гостя, – коммунизм... Спору нет: Ленин человек гениальный, но... да, вот не угодно ли пайковую... хе-хе! Сегодня получил... Но коммунизм – это такая вещь, что она, так сказать, по своему существу... Ах, разорванная? Возьмите другую, вот с краю... По своей сути требует известного развития... Ах, подмоченная? Ну и папиросы! Вот, пожалуйста, эту... По своему содержанию... Погодите, разгорится... Ну и спички! Тоже пайковые... Известного сознания...

– Погоди, Поль! Ксаверий Антонович, чай до или после?

– Я думаю... э-э, до, – ответил Ксаверий Антонович.

– Ксюшка! Примус! Сейчас все придут! Все страшно заинтересованы! Страшно! Я пригласила и Софью Ильиничну...

– А столик?

– Достали! Достали! Но только... Он с гвоздями. Но ведь, я думаю, ничего?

– Гм... Конечно, это нехорошо... Но как-нибудь обойдемся...

Ксаверий Антонович окинул взглядом трехногий столик с инкрустацией, и пальцы у него сами собою шевельнулись.

Павел Петрович заговорил:

– Я, признаться, не верю. Не верю, как хотите. Хотя, правда, в природе...

– Ах, что ты говоришь! Это безумно интересно! Но предупреждаю: я буду бояться!

Madame Лузина оживленно блестела глазами, затем выбежала в переднюю, поправила наскоро прическу у зеркала и впорхнула в кухню. Оттуда донесся рев примуса и хлопанье Ксюшкиных пяток.

– Я думаю, – начал Павел Петрович, но не кончил.

В передней постучали. Первая явилась Леночка, затем квартирант. Не заставила себя ждать и Софья Ильинична, учительница 2-й ступени. А тотчас же за ней явился и Боборицкий с невестой Ниночкой.

Столовая наполнилась хохотом и табачным дымом.

– Давно, давно нужно было устроить!

– Я, признаться...

– Ксаверий Антонович! Вы будете медиум! Ведь да? Да?

– Господа, – кокетничал Ксаверий Антонович, – я ведь, в сущности, такой же непосвященный... Хотя...

– Э-э, нет! У вас столик на воздух поднимался!

– Я, признаться...

– Уверяю тебя, Маня собственными глазами видела зеленоватый свет!..

– Какой ужас! Я не хочу!

– При свете! При свете! Иначе я не согласна! – кричала крепко сколоченная, материальная Софья Ильинична. – Иначе я не поверю!

– Позвольте... Дадим честное слово...

– Нет! Нет! В темноте! Когда Юлий Цезор выстучал нам смерть...

– Ах, я не могу! О смерти не спрашивать! – кричала невеста Боборицкого, а Боборицкий томно шептал:

– В темноте! В темноте!

Ксюшка, с открытым от изумления ртом, внесла чайник. Madame Лузина загремела чашками.

– Скорее, господа, не будем терять времени!..

И сели за чай...

...Шалью, по указанию Ксаверия Антоновича, наглухо закрыли окно. В передней потушили свет, и Ксюшке приказали сидеть на кухне и не топтать пятками. Сели, и стала темь...

II

Ксюшка заскучала и встревожилась сразу. Какая-то чертовщина... Всюду темень. Заперлись. Сперва тишина, потом тихое, мерное постукивание. Услыхав его, Ксюшка застыла. Страшно стало. Опять тишина. Потом неясный голос...

– Господи?..

Ксюшка шевельнулась на замасленном табурете и стала прислушиваться...

Тук... Тук... Тук... Будто голос гостыи (чистая тумба, прости, господи!) забубнил:

– А, га, га, га...

Тук... Тук...

Ксюшка на табурете, как маятник, качалась от страха к любопытству... То черт с рогами мерещился за черным окном, то тянуло в переднюю...

Наконец не выдержала. Прикрыла дверь в освещенную кухню и шмыгнула в переднюю. Тыча руками, наткнулась на сундуки. Протиснулась дальше, пошарила, разглядела дверь и приныкла к скважине... Но в скважине была адова тьма, из которой доносились голоса...

Ш

– Ду-ух, кто ты?
– А, бе, ве, ге, де, е, же, зе, и...
Тук!
– И! – вздохнули голоса.
– А, бе, ве, ге...
– Им!
Тук... Тук, тук...
– Им-пе-ра! О-о! Господа...
– Император На-по...
Тук... Тук...
– На-по-ле-он!! Боже, как интересно!..
– Тише!.. Спросите! Спрашивайте!..
– Что?.. Да, спрашивайте!.. Ну, кто хочет?..
– Дух императора, – прерывисто и взволнованно спросила Леночка, – скажи, стоит ли мне переходить из Главхима в Желеском? Или нет?..
Тук... Тук... Тук...
– Ду-у... Ду-ра! – отчетливо ответил император Наполеон.
– Ги-и! – гикнул дерзкий квартирант.
Смешок пробежал по цепи.
Софья Ильинична сердито шепнула:
– Разве можно спрашивать ерунду!
Уши Леночки горели во тьме.
– Не сердись, добрый дух! – взмолилась она. – Если не сердись, стукни один раз!
Наполеон, повинувшись рукам Ксаверия Антоновича, ухитрившегося делать два дела – щекотать губами шею madame Лузиной и вертеть стол, взмахнул ножкой и впился ею в мозоль Павла Петровича.
– Сс-с!.. – болезненно прошипел Павел Петрович.
– Тише!.. Спрашивайте!
– У вас никого посторонних нет в квартире? – спросил осторожный Боборицкий.
– Нет! Нет! Говорите смело!
– Дух императора, скажи, сколько времени еще будут у власти большевики?
– А-а!.. Это интересно! Тише!.. Считайте!..
Та-ак, та-ак – застучал Наполеон, припадая на одну ножку.
– Те... эр... и... три... ме-ся-ца!
– А-а!..
– Слава богу! – вскричала невеста. – Я их так ненавижу!
– Тсс! Что вы?!
– Да никого нет!
– Кто их свергнет? Дух, скажи!..
Дыхание затаили... Та-ак, та-ак...
...Ксюшку распирало от любопытства...
Наконец она не вытерпела. Отшатнувшись от собственного отражения, мелькнувшего во мгле зеркала, она протиснулась между сундуками обратно в кухню. Захватила платок, шмыгнула обратно в переднюю, поколебалась немного перед ключом. Потом решила, тихонько прикрыла дверь и, дав волю пяткам, понеслась к Маше нижней.

IV

Маша нижняя нашлась на парадной лестнице у лифта внизу вместе с Дуськой из пятого этажа. В кармане у нижней Маши было на 100 тысяч семечек.

Ксюшка излилась.

– Заперлись они, девоньки... Записывают про императора и про большевиков... Темно в квартире, страсть!.. Жилец, барин, барыня, хахаль ейный, учительша...

– Ну!! – изумлялись нижняя и Дуська, а мозаичный пол покрывался липкой шелухой...

Дверь в квартире № 3 хлопнула, и по лестнице двинулся вниз бравый в необыкновенных штанах. Дуська, и Ксюшка, и нижняя Маша скосили глаза. Штаны до колен были как штаны, из хорошей диагонали, но от колен расширялись, расширялись и становились как колокола.

Квадратная бронзовая грудь распирала фуфайку, а на бедре тускло и мрачно глядело из кожаной штуки востроносое дуло.

Бравый, лихо закинув голову с золотыми буквами на лбу, легко перебирая ногами, отчего колокола мотались, спустился к лифту и, обжегши мимолетным взглядом всех троих, двинулся к выходу...

– Лампы потушили, чтобы я, значит, не видела... Хи-хи!.. и записывают... большевикам, говорят, крышка... Инпиратор... Хи! Хи!

С бравым что-то произошло. Лакированные ботинки вдруг стали прилипать к полу. Шаг его замедлился. Бравый вдруг остановился, пошарил в кармане, как будто что-то забыл, потом зевнул и вдруг, очевидно раздумав, вместо того, чтобы выйти в парадное, повернулся и сел на скамью, скрывшись из Ксюшкиного поля зрения за стеклянным выступом с надписью «швейцар».

Заинтересовал его, по-видимому, рыжий потрескавшийся купидон на стене. В купидона он впился и стал его изучать...

...Облегчив душу, Ксюшка затопотала обратно. Бравый уныло зевнул, глянул на браслет-часы, пожал плечами и, видимо соскучившись ждать кого-то из квартиры № 3, поднялся и, развинченно помахивая колоколами, пошел на расстоянии одного марша за Ксюшкой...

Когда Ксюшка скрылась, стараясь не хлопнуть дверью, в квартире, в темноте на площадке вспыхнула спичка у белого номерка – «24». Бравый уже не прилипал и не позевывал.

– Двадцать четыре, – сосредоточенно сказал он самому себе и, бодрый и оживленный, стрелой понесся вниз через все шесть этажей.

V

В дымной тьме Сократ, сменивший Наполеона, творил чудеса. Он плясал, как сумасшедший, предрекая большевикам близкую гибель. Потная Софья Ильинична, не переставая, читала азбуку. Руки онемели у всех, кроме Ксаверия Антоновича. Мутные, беловатые силуэты мелькали во мгле. Когда же нервы напряглись до предела, стол с сидящим в нем мудрым греком колыхнулся и поплыл вверх.

– Ах!.. Довольно!.. Я боюсь!.. Нет! Пусть! Милый! Дух! Выше!.. Никто не трогает ногами?!. Да нет же!.. Тсс!.. Дух! Если ты есть, возьми Ia на пианино! – Грек оборвался сверху и грянул всеми ножками в пол. Что-то с треском лопнуло в нем. Затем он забарахтался и, наступая на ноги взвизгивающим дамам, стал рваться к пианино... Спириты, сталкиваясь лбами, понеслись за ним...

Ксюшка вскочила как встрепанная с ситцевого одеяла в кухне. Ее писка: «Кто такой?» – очумевшие спириты не слышали.

Какой-то новый, злобный и страшный, дух вселился в стол, выкинув покойного грека. Он страшно гремел ножками, как из пулемета, кидался из стороны в сторону и нес какую-то окоlesiцу.

– Дра-ту-ма... бы... ы... ы.

– Миленький! Дух! – стонали спириты.

– Что ты хочешь?!

– Дверь! – наконец вырвалось у бешеного духа.

– А-а!.. Дверь! Слышите! В дверь хочет бежать!.. Пустите его!

Трык, трак, тук, – заковылял стол к двери.

– Стойте! – крикнул вдруг Боборицкий. – Вы видите, какая в нем сила! Пусть, не доходя, стукнет в дверь!

– Дух! Стукни!!

И дух превзошел ожидания. Снаружи в дверь он грянул как будто сразу тремя кулаками.

– Ай! – взвизгнули в комнате три голоса.

А дух действительно был полон силы. Он забарабанил так, что у спиритов волосы стали дыбом. Вмиг замерло дыхание, стала тишина...

Дрожащим голосом выкрикнул Павел Петрович:

– Дух! Кто ты?..

Из-за двери гробовой голос ответил:

– Чрезвычайная комиссия.

...Дух испарился из стола позорно – в одно мгновение. Стол, припав на поврежденную ножку, стал неподвижно. Спириты окаменели. Затем madame Лузина простонала: «Бо-о-же!» – и тихо сникла в неподдельном обмороке на грудь Ксаверию Антоновичу, прошипевшему:

– О, черт бы взял идиотскую затею!

Трясущиеся руки Павла Петровича открыли дверь. Вмиг вспыхнули лампы, и дух предстал перед снежно-бледными спиритами. Он был кожаный. Весь кожаный, начиная с фуражки и кончая портфелем. Мало того, он был не один. Целая вереница подвластных духов виднелась в передней.

Мелькнула бронзовая грудь, граненый ствол, серая шинель, еще шинель...

Дух окинул глазами хаос спиритической комнаты и, зловеще ухмыльнувшись, сказал:

– Ваши документы, товарищи...

Эпилог

Боборицкий сидел неделю, квартирант и Ксаверий Антонович – 13 дней, а Павел Петрович – полтора месяца.

№ 13 – дом Эльпит-Рабкоммуна

Так было. Каждый вечер мышасто-серая пятиэтажная громада загоралась ста семьюдесятью окнами на асфальтированный двор с каменной девушкой у фонтана. И зеленоликая, немая, обнаженная, с кувшином на плече, все лето гляделась томно в кругло-бездонное зеркало. Зимой же снежный венец ложился на взбитые каменные волосы. На гигантском гладком полукруге у подъездов ежевечерне клекотали и содрогались машины, на кончиках оглоблей лихачей сияли фонарики-сударики. Ах, до чего был известный дом. Шикарный дом Эльпит...

Однажды, например, в десять вечера стосильная машина, грянув веселый мажорный сигнал, стала у первого парадного. Два сыщика, словно тени, выскочили из земли и метнулись в тень, а один прошмыгнул в черные ворота, а там по скользким ступеням в дворницкий подвал. Открылась дверца лакированной каретки, и, закутанный в шубу, высадился дорогой гость.

В квартире № 3 генерала от кавалерии Де-Баррейн он до трех гостил.

До трех, припав к подножию серой кариатиды, истомленный волчьей жизнью, бодрствовал шпион. Другой до трех на полутемном марше лестницы курил, слушая приглушенный коврами то звон Венгерской рапсодии, *caricissimo*, – то цыганские буйные взрывы:

Сегодня пьем! Завтра пьем!
Пьем мы всю неде-елю – эх!
Раз... еще раз...

До трех сидел третий на ситцево-лоскутной дряни в конуре старшего дворника. И конусы резкого белого света до трех горели на полукруге. И из этажа в этаж по невидимому телефону бежал шепчущий горделивый слух: Распутин здесь. Распутин. Смуглый обладатель сейфа, торговец живым товаром, Борис Самойлович Христи, гениальнейший из всех московских управляющих, после ночи у Де-Баррейн стал как будто еще загадочнее, еще надменнее.

Искры стальной гордости появились у него в черных глазах, и на квартиры жестоко набавили.

А в № 2 Христи, да что Христи... Сам Эльпит снимал, в бурю ли, в снег ли, каракулевую шапку, сталкиваясь с выходящей из зеркальной каретки женщиной в шиншилях. И улыбался. Счета женщины гасил человек столь вознесенный, что у него не было фамилии. Подписывался именем с хитрым росчерком... Да что говорить. Был дом... Большие люди – большая жизнь.

В зимние вечера, когда бес, прикинувшись вьюгой, кувырчался и выл под железными желобами крыш, проворные дворники гнали перед собой щитами сугробы, до асфальта расчищали двор. Четыре лифта ходили беззвучно вверх и вниз. Утром и вечером, словно по волшебству, серые гармонии труб во всех 75 квартирах наливались теплом. В кронштейнах на площадках горели лампы... В недрах квартир белые ванны, в важных полутемных передних тусклый блеск телефонных аппаратов... Ковры... В кабинетах беззвучно торжественно. Массивные кожаные кресла. И до самых верхних площадок жили крупные массивные люди. Директор банка, умница, государственный человек с лицом Сен-Бри из «Гугенотов», лишь чуть испорченным какими-то странноватыми, не то больными, не то уголовными, глазами, фабрикант (афинские ночи со съемками при магнии), золотистые выкормленные женщины, всемирный феноменальный бас – солист, еще генерал, еще... И мелочь: присяжные поверенные в визитках, доктора по абортам...

Большое было время...

И ничего не стало. *Sic transit gloria mundi!*⁴

⁴ Все проходит (*лат.*).

Страшно жить, когда падают царства. И самая память стала угасать. Да было ли это, Господи?.. Генерал от кавалерии!.. Слово какое!

Да... А вещи остались. Вывезти никому не дали.

Эльпит сам ушел в чем был.

Вот тогда у ворот рядом с фонарем (огненный «№ 13») прилипла белая таблица и странная надпись на ней: «Рабкоммуна». Во всех 75 квартирах оказался невиданный люд. Пианино умолкли, но граммофоны были живы и часто пели зловещими голосами. Поперек гостиных протянулись веревки, а на них сырое белье. Примусы шипели по-змеиному, и днем и ночью плыл по лестницам щиплющий чад. Из всех кронштейнов лампы исчезли, и наступал ежевечерне мрак. В нем спотыкались тени с узлом и тоскливо вскрикивали:

– Мань, а Ма-ань! Где ж ты? Черт те возьми!

В квартире 50 в двух комнатах вытопили паркет. Лифты... Да, впрочем, что тут рассказывать...

* * *

Но было чудо: Эльпит-Рабкоммуны топили.

Дело в том, что в полуподвальной квартире, в двух комнатах, остался... Христи.

Те три человека, которым досталась львиная доля эльпитовских ковров и которые вывели на двери Де-Баррейна в бельэтаже лоскуток: «Правление», поняли, что без Христи дом Рабкоммуны не простоит и месяца. Рассыплется. И матово-черного дельца в фуражке с лакированным козырьком оставили за зелеными занавесками в полуподвале. Чудовищное соединение: с одной стороны, шумное, заскорузлое правление, с другой – «смотритель»! Это Христи-то! Но это было прочнейшее в мире соединение. Христи был именно тот человек, который не менее правления желал, чтобы Рабкоммуна стояла бы невредимо мышастой громадой, а не упала бы в прах.

И вот Христи не только не обидели, но положили ему жалованье. Ну, правда, ничтожное. Около 1/10 того, что платил ему Эльпит, без всяких признаков жизни сидящий в двух комнатках на другом конце Москвы.

– Черт с ними, с унитазами, черт с проводами! – страстно говорил Эльпит, сжимая кулаки. – Но лишь бы топить. Сохранить главное. Борис Самойлович, сберегите мне дом, пока все это кончится, и я сумею вас отблагодарить! Что? Верьте мне!

Христи верил, кивал стриженной седеющей головой и уезжал после доклада хмурый и озабоченный. Подъезжая, видел в воротах правление и закрывал глаза от ненависти, бледнел. Но это только миг. А потом улыбался. Он умел терпеть.

А главное – топить. И вот добывали ордера, нефть возили. Трубы нагревались. 12°, 12°! Если там, откуда получали нефть, что-то заедало, крупно платился Эльпит. У него горели глаза.

– Ну, хорошо... Я заплачу. Дайте обоим и секретарю. Что? Перестать? О, нет, нет! Ни на минуту...

* * *

Христи был гениален. В среднем корпусе, в пятом этаже, на квартиру, в которой когда-то студия была, табу наложил.

– Нилушкина Егора туда вселить...

– Нет уж, товарищи, будьте добры. Мне без хозяйственного склада нельзя. Для дома ведь, для вас же.

В сущности, был хлам. Какие-то глупые декорации, арматура. Но... Но были и тридцать бидонов с бензином эльпитовским и еще что-то в свертках, что хранил Христи до лучших дней.

И жила серая Рабкоммуна № 13 под недреманным оком. Правда, в левом крыле то и дело угасал свет... Монтер, начавший пить с января 18-го года, вытертый, как войлок, озверевший монтер, бабам кричал:

– А, чтоб вы издохли! Дверью больше хлопайте у щита! Что я вам, каторжный? Сверхурочные.

И бабы злобно-тоскливо вопили во мраке:

– Мань! А Ма-ань! Где ты?

Опять к монтеру ходили:

– Сво-о-лочь ты! Пяндрыга. Христи пожалуемся.

И от одного имени Христи свет волшебным образом загорался.

Да-с, Христи был человек.

Мучил он правление до тех пор, пока оно не выделило из своей среды Нилушкина Егора с титулом «санитарный наблюдающий». Нилушкин Егор два раза в неделю обходил все 75 квартир. Грохотал кулаками в запертые двери, а в незапертые входил без церемонии, хоть будь тут голые бабы, пролезал под сырыми подштанниками и кричал сипло и страшно:

– Которые тут гадют, всех в 24 часа!

И с уличенных брал дань.

* * *

И вот жили, жили, ан в феврале, в самый мороз, заело вновь с нефтью. И Эльпит ничего не мог сделать. Взятку взяли, но сказали:

– Дадим через неделю.

Христи на докладе у Эльпита промолвил тяжко:

– Ой... Я так устал! Если бы вы знали, Адольф Иосифович, как я устал. Когда же все это кончится?

И тут действительно можно было видеть, что у Христи тоскливые стали замученные глаза. У стального Христи.

Эльпит страстно ответил:

– Борис Самойлович! Вы верите мне? Ну, так вот вам: это последняя зима. И так же легко, как я эту папироску выкурю, я их вышвырну будущим летом, к чертовой матери. Что? Верьте мне. Но только я вас прошу, очень прошу, уж эту неделю вы сами, сами посмотрите. Боже сохрани – печки! Эта вентиляция... Я так боюсь. Но и стекла чтобы не резали. Ведь не сдохнут же они за неделю! Ну, может, шесть дней. Я сам завтра съезжу к Иван Ивановичу.

В Рабкоммуне вечером Христи, выдыхая беловатый пар, говорил:

– Ну, что ж... Ну, потерпим. Четыре-пять дней. Но без печек...

И правление соглашалось.

– Конечно. Мыслимо ли? Это не дымоходы. Долго ли до беды.

И Христи сам ходил, сам ходил каждый день, в особенности в пятый этаж. Зорко глядел, чтобы не наставили черных буржук, не вывели бы труб в отверстия, что предательски приветливо глядели в углах комнат под самым потолком.

И Нилушкин Егор ходил:

– Ежели мне которые... Это вам не дымоходы. В двадцать четыре часа.

* * *

На шестой день пытка стала нестерпимой. Бич дома, Пыляева Аннушка, простоволосая, кричала в пролет удаляющемуся Нилушкину Егору:

– Сволочи! Зажирели за нашими спинами! Только и знают – самогон лакают. А как обзаводиться топить – их нету! У-у, треклятые души! Да с места не сойти, затоплю седни. Права такого нету, не позволять! Косой черт! (Это про Христи!) Ему одно: как бы дом не закоптить... Хозяина дожидается, нам все известно!.. По его, рабочий человек хоть издохни...

И Нилушкин Егор, отступая со ступеньки на ступеньку, растерянно бормотал:

– Ах, зануда баба... Ну и зануда ж!

Но все же оборачивался и гулко отстреливался:

– Я те затоплю! В двадцать четыре...

Сверху:

– Сук-кин сын! Я до Карпова дойду! Что? Морозить рабочего человека!

Не осуждайте. Пытка – мороз. Озверевает всякий...

В два часа ночи, когда Христи спал, когда Нилушкин спал, когда во всех комнатах под тряпьем и шубами, свернувшись, как собачонки, спали люди, в квартире 50, комн. 5, стало как в раю. За черными окнами была бесовская метель, а в маленькой печечке танцевал огненный маленький принц, сжигая паркетные квадратики.

– Ах, тяга хороша! – восхищалась Пыляева Аннушка, поглядывая то на чайничек, постукивающий крышкой, то на черное кольцо, уходившее в отверстие, – замечательная тяга! Вот псы, прости господи! Жалко им, что ли? Ну, да ладно. Шито и крыто.

И принц плясал, и искры неслись по черной трубе и улетали в загадочную пасть... А там в черные извивы узкого вентиляционного хода, обитого войлоком... Да на чердак.

Первыми блеснули дрожащие факелы Арбатской... Христи одной рукой рвал телефонную трубку с крючка, другой оборвал зеленую занавеску...

– Пречистенскую даешь! Царица небесная! Товарищи!! – Девятьсот тридцать человек проснулись одновременно. Увидели – змеиным дрожанием окровавились стекла. Угодники святители! Во-ой! Двери забили, как пулеметы, вперевод... – Барышня! Ох, барышня!! Один – ох – двадцать два... восемнадцать. 18... Краснопресненскую даешь!..

...Каскадами с пятого этажа по ступеням хлынуло. В пролетах, в лифтах Ниагара до подвала.

– По-мо-ги-те!.. Хамовническую даешь!..

Эх, молодцы пожарные! Бесстрашные рыцари в золото-красных шлемах, в парусине. Развинчивали лестницы, серые шланги поползли, как удавы. В бога! В мать!! Рвали крюками железные листы. Топорами били страшно, как в бою. Свистели струи вправо, влево, в небо. Мать! Мать!! А гром, гром, гром. На двадцатой минуте Городская, с искрами, с огнями, с касками...

Но бензин, голубчики, бензин! Бензин! Пропали головушки горькие, бензин! Рядом с Пыляевой Аннушкой, с комнатой 5. Ударило: раз. Еще: р-раз!

...Еще много, много раз...

А там совсем уже грозно заиграл, да не маленький принц, а огненный король, рапсодию. Да не саргиссио, а страшно – brioso. Сретенская с переулка – да-е-ешь!! Качай, качай! А огонь Сретенской – салют! Ахнуло так, что в левом крыле во мгновение ока ни стекла. В среднем корпусе бездна огненная, а над бездной, как траурные плащи-бабочки, полетели железные листы.

Медные шлемы ударили штурмом на левое крыло, а в среднем бес раздул так, что в 4-м этаже в 49-м номере бабке Павловне, что тянучками торговала, ходу-то и нет! И, взыв предсмертно, вылетела бабка из окна, сверкнув желтыми голыми ногами. Скорую помощь! 1–22–31!! Кровавую лепешку лечить! Угодники Божии! Ванюшка сгорел. Ванюшка!! Где папанька? Ой! Ой! Машинку-то, машинку! Швейную, батюшки! Узлы из окон на асфальт бу-ух! Стой! Не кидай! Товарищи!.. А с пятого этажа, в правом крыле, в узле тарелок одиннадцать штук,

фаянс буржуйской бывшей, как чвякнуло! И был Нилушкин Егор, и нет Нилушкина Егора. Вместо Нилушкиной головы месиво, вместо фаянса – черепки в простыне. Товарищи! Ой! Таньку забыли!.. Оцепить с переулка! Осади! Назад! В мать, в бога!

Током ударило одного из бесстрашных рыцарей в подвале. Славной смертью другой погиб в бензиновом ручье, летевшем в яростных легких огнях вниз. Балку оторвало, ударило, и третьему перебило позвоночный столб.

С самоваром в одной руке, в другой – тихий белый старичок, Серафим Саровский, в серебряной ризе. В одних рубашках. Визг, визг. В визге топоры гремят, гремят. Осади!.. Потолок! Как саданет, как рухнет с третьего во второй, со второго в первый этаж.

И тут уже ад. Чистый ад. Из среднего хлещет так, что волосы дыбом встают. Стекла последние, самые отдаленные, – бенц! Бенц!

Трубники в дыму давятся, качаются, напором брандспойты из рук рвет. Резерв даешь!! Да что – резерв! Уже к среднему на десять саженей не подходи! Глаза лопнут...

В первый раз в жизни Христи плакал. Седеющий, стальной Христи. У сырого ствола в палисаднике в переулке, где было светло, хоть мелкое письмо читай. Шуба свисала с плеча, и голая грудь была видна у Христи. Да не было холодно. И стало у Христи такое лицо, словно он сам горел в огне, но был нем и ничего не мог выкрикнуть. Все смотрел, не отрываясь, туда, где сквозь метавшиеся черные тени виднелись пламеневшие неподвижные лица кариатид. Слезы медленно сползали по синеватым щекам. Он не смахивал их и все смотрел да смотрел.

Раз только он мотнул головой, когда Эльпит тронул за плечо и сказал хрипло:

– Ну, что уж больше... Едем, Борис Самойлович. Простудитесь. Едем.

Но Христи еще раз качнул головой.

– Поезжайте... Я сейчас.

Эльпит утонул среди теней, среди факелов, шлепая по распутившемуся снегу, пробираясь к извозчику. Христи остался, только перевел взгляд на бледневшее небо, на котором колыбался, распластавшись, жаркий оранжевый зверь...

...На зверя смотрела и Пыляева Аннушка. С заглушенными вздохами и стонами бежала она тихими снежными переулками, и лицо у нее от сажи и слез как у ведьмы было.

То шептала чепуху какую-то:

– Засудят... Засудят, головушка горькая...

То всхлипывала.

Уж давно, давно остались позади и вой, и крик, и голые люди, и страшные вспышки на шлемах. Тихо было в переулке, и чуть поросил снежок. Но звериное брюхо все висело на небе. Все дрожало и переливалось. И так исстрадалась, истомилась Пыляева Аннушка от черной мысли «беда», от этого огненного брюха-отсвета, что торжествующе разливалось по небу... так исстрадалась, что пришло к ней тупое успокоение, а главное, в голове в первый раз в жизни просветлело.

Остановившись, чтобы отдышаться, ткнулась она на ступеньку, села. И слезы высохли.

Подперла голову и отчетливо помыслила в первый раз в жизни так: «Люди мы темные. Темные люди. Учить нас надо, дураков...»

Отдышавшись, поднялась, пошла уже медленно, на зверя не оглядывалась, только все по лицу размазывала сажу, носом шмыгала.

А зверь, как побледнело небо, и сам стал бледнеть, туманиться. Туманился, туманился, съежился, свился черным дымом и совсем исчез.

И на небе не осталось никакого знака, что сгорел знаменитый № 13 – дом Эльпит-Рабкоммуна.

Столица в блокноте

I

Бог Ремонт

Каждый бог на свой фасон. Меркурий, например, с крылышками на ногах. Он – нэпман и жулик. А мой любимый бог – бог Ремонт, вселившийся в Москву в 1922 году, в переднике, вымазан известкой, от него пахнет махоркой. Он и меня зацепил своей кистью, и до сих пор я храню след божественного прикосновения на своем осеннем пальто, в котором я хожу и зимой. Почему? Ах да, за границей, вероятно, неизвестно, что в Москве существует целый класс, считающийся модным ходить зимой в осеннем. К этому классу принадлежит так называемая мыслящая интеллигенция и интеллигенция будущая: рабфаки и проч. Эти последние, впрочем, даже и не в пальто, а в каких-то кургузых куртках. Холодно?..

Вздор. Очень легко можно привыкнуть.

Итак, это было золотой осенью, когда мы с приятелем моим – спецом – выходили из гостиницы. Там зверски орудовал прекрасный бог. Стояли козлы, со стен бежали белые ручьи, вкусно пахло масляной краской.

Тут-то Он меня и мазнул.

Спец жадно вдохнул запах краски и гордо сказал:

– Не угодно ли. Погодите, еще годик – не узнаете Москвы. Теперь «мы» (ударение на этом слове) покажем, на что мы способны!

К сожалению, ничего особенного спец показать не успел, так как через неделю после этого стал очередной жертвой «большевистского террора». Именно: его посадили в Бутырки.

За что, совершенно неизвестно.

Жена его говорит по этому поводу что-то невнятное:

– Это безобразие! Ведь расписки нет? Нет? Пусть покажут расписку. Сидоров (или Иванов, не помню) – подлец! Говорит – двадцать миллиардов. Во-первых, пятнадцать!

Расписки действительно нету (не идиот же спец, в самом деле!), поэтому спеца скоро выпустят. Но тогда уж он действительно покажет. Набравшись сил в Бутырках.

Но спеца нет, бог Ремонт остался. Может быть, потому, что, сколько бы спецов ни сажали, остается все же невероятное количество (точная моя статистика: в Москве – 1 000 000, не ме-не-е!), или потому, что можно обойтись и без спецов, но бог неутомимый, прекрасный – штукатур, маляр и каменщик – орудует. И даже теперь он не затих, хоть уже зима и валит мягкий снег.

На Лубянке, на углу Мясницкой, было бог знает что: какая-то выгрызенная плешь, покрытая битым кирпичом и осколками бутылок. А теперь, правда, одноэтажное, но все же здание! Зда-ни-е! Цельные стекла. Все как полагается. За стеклами, правда, ничего еще нет, но снаружи уже красуется надпись золотыми буквами: «Трикотаж».

Вообще на глазах происходят чудеса. Зияющие двери в нижних этажах вдруг застекляются. День... два, и за стеклами загораются лампы, и... или материи каскадами, или же красуется под зеленым абажуром какая-то голова, склонившаяся над бумагами. Не знаю, почему и какая голова, но что он делает, могу сказать, не заглядывая внутрь:

– Составляет ведомость на сверхурочные.

И откровенно скажу: материи – хорошо, а голова – это не нужно. Пишут, пишут... Но с этим, видно, ничего не поделаешь.

Я верю: материи и посуда, зонтики и калоши вытеснят в конце концов плешивые чиновничьи головы начисто. Пейзаж московский станет восхитительным. На мой вкус.

Я с чувством наслаждения прохожу теперь пассажи. Петровка и Кузнецкий в сумерки горят огнями. И буйные гаммы красок за стеклами – улыбаются лики игрушек кустарей.

Лифты пошли! Сам видел сегодня. Имею я право верить своим глазам?

Этот сезон подновляли, штукатурили, подклеивали. На будущий сезон, я верю, будут строить. Осенью, глядя на сверкающие адским пламенем котлы с асфальтом на улицах, я вздрагивал от радостного предчувствия. Будут строить, несмотря ни на что. Быть может, это фантазия правоверного москвича... А по-моему, воля ваша, вижу – Ренессанс.

Московская эпиталама:

Пою тебе, о бог Ремонта!

II

Гнилая интеллигенция

Расстался я с ним в июне месяце. Он пришел тогда ко мне, свернул махорочную козью ногу и сказал мрачно:

– Ну, вот и кончил университет.

– Поздравляю вас, доктор, – с чувством ответил я.

Перспективы у новоиспеченного доктора вырисовывались в таком виде: в здравотделе сказали: «вы свободны», в общежитии студентов-медиков сказали: «ну, теперь вы кончили, так выезжайте», в клиниках, больницах и т. под. учреждениях сказали: «сокращение штатов».

Получался, в общем, полнейший мрак.

После этого он исчез и утонул в московской бездне.

– Значит, погиб, – спокойно констатировал я, занятый своими личными делами (т. наз. «борьба за существование»).

Я доборолся до самого ноября и собирался бороться дальше, как он появился неожиданно.

На плечах еще висела вытертая дрянь (бывшее студенческое пальто), но из-под нее выглядывали новенькие брюки.

По одной складке, аристократически заглаженной, я безошибочно определил: куплены на Сухаревке за 75 миллионов.

Он вынул футляр от шприца и угостил меня «Ирой»-рассыпной.

Раздавленный изумлением, я ждал объяснений. Они последовали немедленно:

– Грузчиком работаю в артели. Знаешь, симпатичная такая артель – 6 студентов 5-го курса и я...

– Что же вы грузите?!

– Мебель в магазины. У нас уж и постоянные давалыцы есть.

– Сколько ж ты зарабатываешь?

– Да вот за предыдущую неделю 275 лимончиков.

Я мгновенно сделал перемножение: $275 \times 4 = 1$ миллиард сто! В месяц.

– А медицина?!

– А медицина сама собой. Грузим мы раз-два в неделю. Остальное время я в клинике, рентгеном занимаюсь.

– А комната?

Он хихикнул.

– И комната есть... Оригинально, так, знаешь, вышло... Перевозили мы мебель в квартиру одной артистки. Она меня и спрашивает с удивлением: «А вы, позвольте узнать, кто на самом деле? У вас лицо такое интеллигентное». Я, говорю, доктор. Если б ты видел, что с ней сделалось! Чаем напоила, расспрашивала. «А где вы, говорит, живете?» А я говорю, нигде не живу. Такое участие приняла, дай ей бог здоровья. Через нее я и комнату получил, у ее знакомых. Только условие: чтобы я не женился!

– Это что ж, артистка условие такое поставила?

– Зачем артистка... Хозяева. Одному, говорят, сдадим, двоим ни в коем случае.

Очарованный сказочными успехами моего приятеля, я сказал после раздумья:

– Вот писали все: гнилая интеллигенция, гнилая... Ведь, пожалуй, она уже умерла. После революции народилась новая, железная интеллигенция. Она и мебель может грузить, и дрова колоть, и рентгеном заниматься.

– Я верю, – продолжал я, впадая в лирический тон, – она не пропадет! Выживет!

Он подтвердил, распространяя удушливые клубы «Иры»-рассыпной:

– Зачем пропадать. Пропадать мы не согласны.

III

Сверхъестественный мальчик

Вчера утром на Тверской я видел мальчика. За ним шла, раскрыв рты, группа ошеломленных граждан мужского и женского пола и тянулась вереница пустых извозчиков, как за покойником.

Со встречного трамвая № 6 свешивались пассажиры и указывали на мальчика пальцами. Утверждать не стану, но мне показалось, что торговка яблоками у дома № 73 зарыдала от счастья, а зазевавшийся шофер срезал угол и чуть не угодил в участок.

Лишь протерев глаза, я понял, в чем дело.

У мальчика на животе не было лотка с сахаринным ирисом, и мальчик не выл диким голосом:

– «Посольские»! «Ява»!! «Мурсал»!!! Газетатачкапрокатываетвсех!..

Мальчик не вырывал из рук у другого мальчика скомканных лимонов и не лягал его ногами. У мальчика не было во рту папиросы. Мальчик не ругался скверными словами.

Мальчик не входил в трамвай в живописных лохмотьях и, фальшиво бегая по сытым лицам спекулянтов, не гнусил:

– Пода-айте... Христа ради...

Нет, граждане. Этот единственный, впервые встретившийся мне мальчик шел, степенно покачиваясь и не спеша, в прекрасной уютной шапке с наушниками, и на лице у него были написаны все добродетели, какие только могут быть у мальчика 11–12 лет.

Нет, не мальчик это был. Это был чистой воды херувим в теплых перчатках и валенках. И на спине у херувима был р-а-н-е-ц, из которого торчал уголок измызанного задачника.

Мальчик шел в школу 1-й ступени у-ч-и-т-ь-с-я.

Довольно. Точка.

IV

Триллионер

Отправился я к знакомым нэпманам. Надоело мне бывать у писателей. Богема хороша только у Мюрже – красное вино, барышни... Московская же литературная богема угнетает.

Придешь и – или попросят сесть на ящик, а в ящике – ржавые гвозди, или чаю нет, или чай есть, но сахару нет, или в соседней комнате хозяйка квартиры варит самогон, и туда шмыгают какие-то люди с распухшими лицами, и сидишь как на иголках, потому что боишься, что придут – распухших арестовывать и тебя захватят или (хуже всего) молодые поэты начнут свои стихи читать. Один, потом другой, потом третий... Словом – нестерпимая обстановка.

У нэпманов оказалось до чрезвычайности хорошо. Чай, лимон, печенье, горничная, всюду пахнет духами, серебряные ложки (примечание для испуганного иностранца: платоническое удовольствие), на пианино дочь играет «Молитву девы», диван, «не хотите ли со сливками», никто стихов не читает и т. д.

Единственное неудобство: в зеркальных отражениях маленькая дырка на твоих штанах превращается в дырищу величиной с чайное блюдечко и приходится прикрывать ее ладонью, а чай мешать левой рукой. А хозяйка, очаровательно улыбаясь, говорит:

– Вы очень милый и интересный, но почему вы не купите себе новые брюки? А заодно и шапку...

После этого «заодно» я подавился чаем, и золотушная «Молитва девы» показалась мне данс-макабром⁵.

Но прозвучал звонок и спас меня.

Вошел некто, перед которым все побледнело и даже серебряные ложки съезжились и сделались похожими на подержанное фразэ.

На пальце у вошедшего сидело что-то напоминающее крест на храме Христа Спасителя на закате.

– Каратов девяносто... Не иначе как он его с короны снял, – шепнул мне мой сосед – поэт, человек, воспевающий в стихах драгоценные камни, но, по своей жестокой бедности, не имеющий понятия о том, что такое карат.

По камню, от которого сыпались во все стороны разноцветные лучи, по тому, как на плечах у толстой жены вошедшего сидел рыжий палантин, по тому, как у вошедшего юрко бегали глаза, я догадался, что передо мной всем нэпманам – нэпман, да еще, вероятно, из треста.

Хозяйка вспыхнула, заулыбалась золотыми коронками, кинулась навстречу, что-то восклицая, и прервалась «Молитва девы» на самом интересном месте.

Затем началось оживленное чаепитие, причем нэпман был в центре внимания.

Я почему-то обиделся (ну что ж из того, что он нэпман? Я разве не человек?) и решил завязать разговор. И завязал его удачно.

– Сколько вы получаете жалования? – спросил я у обладателя сокровища.

Тут же с двух сторон под столом мне наступили на ноги. На правой ноге я ощутил сапог поэта (кривой стоптанный каблук), на левой – ногу хозяйки (французский острый каблук).

Но богач не обиделся. Напротив, мой вопрос ему польстил почему-то.

⁵ пляской смерти (от *фр.* *dance macabre*).

Он остановил на мне глаза на секунду, причем тут только я разглядел, что они похожи на две десятки одесской работы.

– М... м... как вам сказать... Э... пустяки. Два, три миллиарда, – ответил он, посылая мне с пальца снопы света.

– А сколько стоит ваше бри... – начал я и взвизгнул от боли...

– ...бритье?! – выкрикнул я, не помня себя, вместо «бриллиантовое кольцо».

– Бритье стоит 20 лимонов, – изумленно ответил нэпман, а хозяйка сделала ему глазами: «Не обращайтесь внимания. Он идиот».

И мгновенно меня сняли с репертуара. Защебетала хозяйка, но благодаря моему блестящему почину разговор так и увяз в лимонном болоте.

Во-первых, поэт всплеснул руками и простонал:

– 20 лимонов! Ай, яй, яй! (Он брился последний раз в июне.)

Во-вторых, сама хозяйка лягнула что-то несуразно-малое насчет оборотов в тресте.

Нэпман понял, что он находится в компании денежных младенцев, и решил поставить нас на место.

– Приходит ко мне в трест неизвестный человек, – начал он, поблескивая черными глазами, – и говорит: возьму у вас товару на 200 миллиардов. Плачу векселями. Позвольте, – отвечаю я, – вы – лицо частное... э... какая же гарантия, что ваши уважаемые векселя... А, пожалуйста, – отвечает тот. И вынул книжку своего текущего счета. И как вы думаете, – нэпман победоносно обвел глазами сидящих за столом, – сколько у него оказалось на казенном счету?

– 300 миллиардов? – крикнул поэт (этот проклятый санкюлот не держал в руках больше 50 лимонов).

– 800, – сказала хозяйка.

– 940, – робко пискнул я, убрав ноги под стол.

Нэпман артистически выждал паузу и сказал:

– Тридцать три триллиона.

Тут я упал в обморок и, что было дальше, не знаю.

Примечание для иностранцев: триллионом в московских трестах называют тысячу миллиардов. 33 триллиона пишут так:

33 000 000 000 000.

V

Человек во фраке

Опера Зимина. «Гугеноты». Совершенно такие же, как «Гугеноты» 1893 г., «Гугеноты» 1903 г., 1913 г., наконец, и 1923 г.!

Как раз с 1913 г. я и не видел этих «Гугенотов». Первое впечатление – ошалевашь. Две витых зеленых колонны и бесконечное количество голубоватых ляжек в трико. Затем тенор начинает петь такое, что сразу мучительно хочется в буфет и:

– Гражданин служающий, пива! («Человеков» в Москве еще нет.)

В ушах лягает громовое «пиф-паф!!» Марселя, а в мозгу вопрос:

«Должно быть, это действительно прекрасно, ежели последние бурные годы не вытерли этих гугенотов вон из театра, окрашенного в какие-то жабы тона».

Куда там вытерли! В партере, в ложах, в ярусах ни клочка места. Взоры сосредоточены на желтых сапогах Марселя. И Марсель, посылая партеру сердитые взгляды, угрожает:

Пощады не ждите,

Она не прид-е-е-т...

Рокочущие низы.

Солисты, посинев под гримом, прорезывают гремящую массу хора и медных. Ползет занавес. Свет. Сразу хочется бутербродов и курить. Первое – невозможно, ибо для того, чтобы есть бутерброды, нужно зарабатывать миллиардов десять в месяц, второе – мыслимо.

У вешалок сквозняк, дымовая завеса. В фойе – шарканье, гул, пахнет дешевыми духами. Зеленой тоска после папиросы.

Все по-прежнему, как было пятьсот лет назад. За исключением, пожалуй, костюмов. Пиджачки сомнительные, френчи вытертые.

«Ишь ты, – подумал я, наблюдая, – публика та, да не та...»

И только что подумал, как увидел у входа в партер человека. Он был во фраке! Все, честь честью, было на месте. Ослепительный пластрон, давно заутюженные брюки, лакированные туфли и, наконец, сам фрак!

Он не посрамил бы французской комедии. Первоначально так и подумал: не иностранец ли? От тех всего жди. Но оказался свой.

Гораздо интереснее фрака было лицо его обладателя. Выражение унылой озабоченности портило расплывчатый лик москвича. В глазах его читалось совершенно явственно:

«Да-с, фрак. Выкуси. Никто не имеет мне права слово сказать. Декрета насчет фраков нету».

И действительно, никто фрачника не трогал, и даже особенно острого любопытства он не возбуждал. И стоял он незыблемо, как скала, омываемая пиджачным и френчным потоком.

Фрак этот до того меня заинтриговал, что я даже оперы не дослушал.

В голове моей вопрос:

Что должен означать фрак? Музейная ли это редкость в Москве среди френчей 1923 г., или фрачник представляет собой некий живой сигнал:

– Выкуси. Через полгода все оденемся во фраки.

Вы думаете, что, может быть, это праздный вопрос? Не скажите...

VI

Биомеханическая глава

...Зови меня вандалом,
Я это имя заслужил.

Признаюсь, прежде чем написать эти строки, я долго колебался. Боялся. Потом решил рискнуть.

После того, как я убедился, что «Гугеноты» и «Риголетто» перестали меня развлекать, я резко кинулся на левый фронт. Причиной этого был И. Эренбург, написавший книгу «А все-таки она вертится», и двое длинноволосых московских футуристов, которые, появляясь ко мне ежедневно в течение недели, за вечерним чаем ругали меня «мещанином».

Неприятно, когда это слово тычут в глаза, и я пошел, будь они прокляты! Пошел в театр Гитис на «Великодушного рогоносца» в постановке Мейерхольда.

Дело вот в чем: я – человек рабочий, каждый миллион дается мне путем ночных бессонниц и дневной зверской беготни. Мои денежки как раз те самые, что носят название кровных. Театр для меня – наслаждение, покой, развлечение, словом, все что угодно, кроме сред-

ства нажать новую хорошую неврастению, тем более что в Москве есть десятки возможностей нажать ее без затраты на театральные билеты.

Я не И. Эренбург и не театральный мудрый критик, но судите сами: в общипанном, ободранном, сквозняковом театре вместо сцены – дыра (занавеса, конечно, нету и следа). В глубине – голая кирпичная стена с двумя гробовыми окнами.

А перед стеной сооружение. По сравнению с ним проект Татлина может считаться образцом ясности и простоты. Какие-то клетки, наклонные плоскости, палки, дверки и колеса. И на колесах буквы кверху ногами «с ч» и «т е». Театральные плотники, как дѣба, ходят взад и вперед, и долго нельзя понять: началось уже действие или еще нет.

Когда же оно начинается (узнаешь об этом потому, что все-таки вспыхивает откуда-то сбоку свет на сцене), появляются синие люди (актеры и актрисы все в синем. Театральные критики называют это прозодеждой. Послал бы я их на завод, денька хоть на два! Узнали бы они, что такое прозодежда!).

Действие: женщина, подобрав синюю юбку, съезжает с наклонной плоскости на том, на чем женщины и мужчины сидят. Женщина мужчине чистит зад платяной щеткой. Женщина на плечах у мужчины ездит, прикрывая стыдливо ноги прозодеждой юбкой.

– Это биомеханика, – пояснил мне приятель. Биомеханика!! Беспомощность этих синих биомехаников, в свое время учившихся произносить слащавые монологи, вне конкуренции. И это, заметьте, в двух шагах от Никитинского цирка, где клоун Лазаренко ошеломляет чудовищными трюками!

Кого-то вертящейся дверью колотят уныло и настойчиво опять по тому же самому месту. В зале настроение как на кладбище, у могилы любимой жены. Колеса вертятся и скрипят.

После первого акта капельдинер:

– Не понравилось у нас, господин?

Улыбка настолько нагла, что мучительно хотелось биомахнуть его по уху.

– Вы опоздали родиться, – сказал мне футурист.

Нет, это Мейерхольд поспешил родиться.

– Мейерхольд – гений!! – завывал футурист.

Не спорю. Очень возможно. Пускай – гений. Мне все равно. Но не следует забывать, что гений одинок, а я – масса. Я – зритель. Театр для меня. Желая ходить в понятный театр.

– Искусство будущего!! – налетели на меня с кулаками.

А если будущего, то пускай, пожалуйста, Мейерхольд умрет и воскреснет в XXI веке. От этого выиграют все, и прежде всего он сам. Его поймут. Публика будет довольна его колесами, он сам получит удовлетворение гения, а я буду в могиле, мне не будут сниться деревянные вертушки.

Вообще к черту эту механику. Я устал.

VII

Ярон

Спас меня от биомеханической тоски артист оперетки Ярон, и ему с горячей благодарностью посвящаю эти строки. После первого же его падения на колени к графу Люксембургу, стукнувшему его по плечу, я понял, что значит это проклятое слово «биомеханика», и когда оперетка карусельным галопом пошла вокруг Ярона, как вокруг стержня, я понял, что значит настоящая буффонада.

Грим! Жесты! В зале гул и гром! И нельзя не хохотать. Немыслимо.

Бескорыстная реклама Ярону, верьте совести: исключительный талант.

VIII

Во что обходится курение

Из хаоса каким-то образом рождается порядок. Некоторые об этом узнают из газет со значительным опозданием, а некоторые по горькому опыту на месте и в процессе создания этого порядка.

Так, например, нэпман, о котором я расскажу, познакомился с новым порядком в коридоре плацкартного вагона на станции Николаевской железной дороги.

Он был в общем благодушный человек, и единственно что выводило его из себя – это большевики. О большевиках он не мог говорить спокойно. О золотой валюте – спокойно. О сале – спокойно. О театре – спокойно. О большевиках – слюна. Я думаю, что если бы маленькую порцию этой слюны вспрыснуть кролику – кролик издох бы во мгновение ока. Двух граммов было бы достаточно, чтобы отравить эскадрон Буденного с лошадьми вместе.

Слюны же у нэпмана было много, потому что он курил.

И когда он залез в вагон со своим твердым чемоданом и огляделся, презрительная усмешка исказила его выразительное лицо.

– Гм... подумаешь, – заговорил он... или, вернее, не заговорил, а как-то заскрипел, – свинячили, свинячили четыре года, а теперь вздумали чистоту наводить! К чему, спрашивается, было все это разрушать? И вы думаете, что я верю в то, что у них что-нибудь выйдет? Держи карман. Русский народ – хам. И все им опять заплюет!

И в тоске и в отчаянии швырнул окурок на пол и растоптал. И немедленно (черт его знает, откуда он взялся, – словно из стены вырос) появился некто с квитанционной книжкой в руках и сказал, побивая рекорд лаконичности:

– Тридцать миллионов.

Не берусь описать лицо нэпмана. Я боялся, что его хватит удар.

* * *

Вон она какая история, товарищи берлинцы. А вы говорите «bolsheviki», «bolsheviki»! Люблю порядок.

* * *

Прихожу в театр. Давно не был. И всюду висят плакаты «курить строго воспрещается». И думаю я, что за чудеса: никто под этими плакатами не курит. Чем это объясняется? Объяснилось это очень просто, так же, как и в вагоне. Лишь только некий с черной бородкой – прочитав плакат – сладко затянулся два раза, как вырос молодой человек симпатичной, но непреклонной наружности и:

– Двадцать миллионов.

Негодование черной бородки не было предела.

Она не пожелала платить. Я ждал взрыва со стороны симпатичного молодого человека, игравшего благодушно квитанциями. Никакого взрыва не последовало, но за спиной молодого человека, без всякого сигнала с его стороны (большевистские фокусы!), из воздуха соткался милиционер. Положительно, это было гофманское нечто. Милиционер не произнес ни одного слова, не сделал ни одного жеста. Нет! Это было просто воплощение укоризны в серой шинели

с револьвером и свистком. Черная бородка заплатила со сверхъестественной гофманской же быстротой.

И лишь тогда ангел-хранитель, у которого вместо крыльев за плечами помещалась небольшая, изящная винтовка, отошел в сторону и «добродушная пролетарская улыбка заиграла на его лице» (так пишут молодые барышни революционные романы).

Случай с черной бородкой так подействовал на мою впечатлительную душу (у меня есть подозрение, что и не только на мою), что теперь, куда бы я ни пришел, прежде чем взяться за портсигар, я тревожно осматриваю стены – нет ли на них какой-нибудь печатной каверзы. И ежели плакат «строго воспрещается», подманивающий русского человека на курение и плевки, то я ни курить, ни плевать не стану ни за что.

IX

Золотой век

Фридрихштрасской уверенности, что Россия прикончилась, я не разделяю, и даже больше того: по мере того, как я наблюдаю московский калейдоскоп, во мне рождается предчувствие, что «все образуется» и мы еще можем пожить довольно славно.

Однако я далек от мысли, что Золотой век уже наступил. Мне почему-то кажется, что наступит он не ранее, чем порядок, симптомы которого так ясно начали проступать в столь незначительных, казалось бы, явлениях, как все эти некурительные и неплевательные события, пустит окончательные корни.

ГУМ с тысячами огней и гладко выбритыми приказчиками, блестящие швейцары в государственных магазинах на Петровке и Кузнецком, «верхнее платье снимать обязательно» и т. под. – это великолепные ступени на лестнице, ведущей в рай, но еще не самый рай.

Для меня означенный рай наступит в то самое мгновение, как в Москве исчезнут семечки. Весьма возможно, что я выродок, не понимающий великого значения этого чисто национального продукта, столь же свойственного нам, как табачная жвачка славным американским героям сногшибательных фильмов, но весьма возможно, что просто-напросто семечки – мерзость, которая угрожает утопить нас в своей слюнявой шелухе.

Боюсь, что мысль моя покажется дикой и непонятной утонченным европейцам, а то я сказал бы, что с момента изгнания семечек для меня непреложной станет вера в электрификацию, поезда (150 километров в час), всеобщую грамотность и прочее, что уже, несомненно, означает рай.

И маленькая надежда у меня закопошилась в сердце после того, как на Тверской меня чуть не сшибла с ног туча баб и мальчишек с лотками, летевших куда-то с воплями:

– Дунька! Ходу! Он идет!!

«Он» оказался, как я и предполагал, воплощением в сером, но уже не укоризны, а ярости.

Граждане, это священная ярость. Я приветствую ее.

Их надо изгнать – семечки. Их надо изгнать. В противном случае быстроходный электрический поезд мы построим, а Дуньки наплюют шелухи в механизм, и поезд остановится, и все к черту.

Х

Красная палочка

Нет пагубнее заблуждения, как представить себе загадочную великую Москву 1923 года отпечатанной в одну краску.

Это спектр. Световые эффекты в ней поразительны. Контрасты – чудовищны. Дуньки и нищие (о, смерть моя – московские нищие! Родился нэп в лакированных ботинках, немедленно родился и тот страшный, в дырах, с гнусавым голосом, и сел на всех перекрестках, занял у подъездов, заковылял по переулкам), благой мат ископаемых извозчиков и бесшумное скольжение машин, сияющих лаком, афиши с мировыми именами... а в будке на Страстной площади торгует журналами, временно исполняя обязанности отлучившегося продавца, неграмотная баба!

Клянусь – неграмотная!

Я сам лично подошел к будке. Спросил «Россию», она мне подала «Корабль» (похож шрифт!). Не то. Бабка заметалась в будке. Подала другое. Не то.

– Да что вы, неграмотная?! (Это я иронически спросил.)

Но долой иронию, да здравствует отчаяние! Баба, действительно, неграмотная.

* * *

Москва – котел: в нем варят новую жизнь. Это очень трудно. Самим приходится вариться. Среди Дунк и неграмотных рождается новый, пронизывающий все углы бытия, организационный скелет.

В отчаянии от бабы с «Кораблем» в руках, в отчаянии от зверских извозчиков, поминающих коллективную нашу мамашу, я кинулся в Столешников переулок и на скрещении его с Большой Дмитровской увидел этих самых извозчиков. На скрещении было, очевидно, какое-то препятствие. Вереница бородачей на козлах была неподвижна. Я был поражен. Почему же не гремит ругань? Почему не вырываются вперед пылкие извозчики?

Боже мой! Препятствие-то, препятствие... Только всего, что в руках у милиционера была красная палочка, и он застыл, подняв ее вверх.

Но лица извозчиков! На них было сияние, как на Пасху.

И когда милиционер, пропустив трамвай и два автомобиля, махнул палочкой, прибавив уже несвойственное констэблям и шуцманам ласковое:

– Давай! – извозчики поехали так нежно и аккуратно, словно везли не здоровых москвичей, а тяжелораненых.

* * *

В порядке <...> дайте нам опоры точку, и мы сдвинем шар земной.

Сорок сороков

Решительно скажу: едва

Другая същется столица, как Москва.

Панорама первая: Голые времена

Панорама первая была в густой тьме, потому что въехал я в Москву ночью. Это было в конце сентября 1921 года. По гроб моей жизни не забуду ослепительного фонаря на Брянском вокзале и двух фонарей на Дорогомиловском мосту, указывающих путь в родную столицу. Ибо, что бы ни происходило, что бы вы ни говорили, Москва – мать, Москва – родной город. Итак, первая панорама: глыба мрака и три огня.

Затем Москва показалась при дневном освещении, сперва в слезливом осеннем тумане, в последующие дни в жгучем морозе. Белые дни и драповое пальто. Драп, драп. О, чертова дерюга! Я не могу описать, насколько я мерз. Мерз и бегал. Бегал и мерз.

Теперь, когда все откормились жирами и фосфором, поэты начинают писать о том, что это были героические времена. Категорически заявляю, что я не герой. У меня нет этого в натуре. Я человек обыкновенный – рожденный ползать – и, ползая по Москве, я чуть не умер с голоду. Никто кормить меня не желал. Все буржуи заперлись на дверные цепочки и через щель высовывали липовые мандаты и удостоверения. Закутавшись в мандаты, как в простыни, они великолепно пережили голод, холод, нашествие «чижиков», трудгужналог и т. под. напасти. Сердца их стали черствы, как булки, продававшиеся тогда под часами на углу Садовой и Тверской.

К героям нечего было и идти. Герои были сами голы, как соколы, и питались какими-то инструкциями и желтой крупой, в которой попадались небольшие красивые камушки вроде аметистов.

Я оказался как раз посредине обеих групп, и совершенно ясно и просто предо мною лег лотерейный билет с надписью – смерть. Увидев его, я словно проснулся. Я развил энергию, неслыханную, чудовищную. Я не погиб, несмотря на то что удары сыпались на меня градом, и при этом с двух сторон. Буржуи гнали меня при первом же взгляде на мой костюм в стан пролетариев. Пролетарии выселяли меня с квартиры на том основании, что если я и не чистой воды буржуй, то, во всяком случае, его суррогат. И не выселили. И не выселят. Смею вас заверить. Я перенял защитные приемы в обоих лагерях. Я оброс мандатами, как собака шерстью, и научился питаться мелкокаратной разноцветной кашей. Тело мое стало худым и жилистым, сердце железным, глаза зоркими. Я – закален.

Закаленный, с удостоверениями в кармане, в драповой дерюге, я шел по Москве и видел панораму. Окна были в пыли. Они были заколочены. Но кое-где уже торговали пирожками. На углах обязательно помещалась вывеска «Распределитель № ...». Убейте меня, и до сих пор не знаю, что в них распределяли. Внутри не было ничего, кроме паутины и сморщенной бабы в шерстяном платке с дырой на темени. Баба, как сейчас помню, взмахивала руками и сипло бормотала:

– Заперто, заперто, и никого, товарищ, нетути!

И после этого провалилась в какой-то люк.

* * *

Возможно, что это были героические времена, но это были голые времена.

Панорама вторая: Сверху вниз

На самую высшую точку в центре Москвы я поднялся в серый апрельский день. Это была высшая точка – верхняя платформа на плоской крыше дома бывшего Нирензее, а ныне Дома Советов в Гнездниковском переулке. Москва лежала, до самых краев видная, внизу. Не то дым, не то туман стлался над ней, но сквозь дымку глядели бесчисленные кровли, фабричные трубы и маковки сорока сороков. Апрельский ветер дул на платформы крыши, на ней было пусто, как пусто на душе. Но все же это был уже теплый ветер. И казалось, что он задувает снизу, что тепло подымается от чрева Москвы. Оно еще не ворчало, как ворчит грозно и радостно чрево больших, живых городов, но снизу, сквозь тонкую завесу тумана, подымался все же какой-то звук. Он был неясен, слаб, но всеобъемлющ. От центра до бульварных колец, от бульварных колец далеко, до самых краев, до сизой дымки, скрывающей подмосковные пространства.

– Москва звучит, кажется, – неуверенно сказал я, наклоняясь над перилами.

– Это – нэп, – ответил мой спутник, придерживая шляпу.

– Брось ты это чертово слово! – ответил я. – Это вовсе не нэп, это сама жизнь. Москва начинает жить.

На душе у меня было радостно и страшно. Москва начинает жить, это было ясно, но буду ли жить я? Ах, это были еще трудные времена. За завтрашний день нельзя было поручиться. Но все же я и подобные мне не ели уже крупы и сахарину. Было мясо на обед. Впервые за три года я не «получил» ботинки, а «купил» их; они были не вдвое больше моей ноги, а только номера на два.

Внизу было занято и страшновато. Нэпманы уже ездили на извозчиках, хамили по всей Москве. Я со страхом глядел на их лики и испытывал дрожь при мысли, что они заполняют всю Москву, что у них в кармане золотые десятки, что они меня выбросят из моей комнаты, что они сильные, зубастые, злобные, с каменными сердцами.

И, спустившись с высшей точки в гущу, я начал жить опять. Они не выбросили. И не выбросят, смею уверить.

Внизу меня ждала радость, ибо нет нэпа без добра: баб с дырами на темени выкинули всех до единой. Паутина исчезла; в окнах кое-где горели электрические лампочки и гирляндами висели подтяжки.

Это был апрель 1922 года.

Панорама третья: На полный ход

В июльский душный вечер я вновь поднялся на кровлю того же девятиэтажного нирензеевского дома. Цепями огней светились бульварные кольца, и радиусы огней уходили к краям Москвы. Пыль не достигала сюда, но звук достиг. Теперь это был явственный звук: Москва ворчала, гудела внутри. Огни, казалось, трепетали, то желтые, то белые огни в черно-синей ночи. Скрежет шел от трамваев, они звякали внизу, и глухо, вперевой, с бульвара неслись звуки оркестров.

На вышке трепетал свет. Гудел аппарат – на экране был помещичий дом с белыми колоннами. А на нижней платформе, окаймляющей верхнюю, при набегавшем иногда ветре шелестели белые салфетки на столах и фрачные лакеи бежали с блестящими блюдами. Нэпманы

влезли и на крышу. Под ногами были четыре приплюснутых головы с низкими лбами и мощными челюстями. Четыре накрашенных женских лица торчали среди нэпманских голов, и стол был залит цветами. Белые, красные, голубые розы покрывали стол. На нем было только пять кусочков свободного места, и эти места были заняты бутылками. На эстраде некто в красной рубашке, с партнершей – девицей в сарафане – пел частушки:

У Чичерина в Москве
Нотное издательство!

Пианино рассыпалось каскадами.

– Бра-во! – кричали нэпманы, звеня стаканами. – Бис!

Приплюснутая и сверху казавшаяся лишенной ног девица семенила к столу с фужером, полным цветов.

– Бис! – кричал нэпман, потоптал ногами, левой рукой обнимал даму за талию, а правой покупал цветок. За неимением места в фужерах на столе, он воткнул его в даму, как раз в то место, где кончался корсаж и начиналось ее желтое тело. Дама хихикнула, дрогнула и ошпарила нэпмана таким взглядом, что он долго глядел мутно, словно сквозь пелену. Лакей вырос из асфальта и перегнулся. Нэпман колебался не более минуты над карточкой и заказал. Лакей махнул салфеткой, всунулся в стеклянную дыру и четко бросил:

– Восемь раз оливье, два лангет-пикана, два бифштекса.

С эстрады грянул и затоптал лихой, веселый матросский танец. Замелькали ноги в лакированных туфлях и в штанах клешем.

Я спустился с верхней площадки на нижнюю, потом – в стеклянную дверь и по бесконечным широким нирензеевским лестницам ушел вниз. Тверская приняла меня огнями, автомобильными глазами, шорохом ног. У Страстного монастыря толпа стояла черной стеной, давали сигналы автомобили, обходя ее. Над толпой висел экран. Дрожа, дробясь черными точками, мутясь, погасая и опять вспыхивая на белом полотне, плыли картины. Бронепоезд с открытыми площадками шел, колыхаясь. На площадке, молниеносно взмахивая руками, оборванные артиллеристы с бантами на груди вгоняли снаряд в орудие. Взмах руки, орудие вздрагивало, и облако дыма отлетало от него.

На Тверской звенели трамваи, и мостовая была извороченной грудой кубиков. Горели жаровни. Москву чинили и днем и ночью.

Это был душный июль 1922 года.

Панорама четвертая: Сейчас

Иногда кажется, что Больших театров в Москве два. Один такой: в сумерки на нем загорается огненная надпись. В кронштейнах вырастают красные флаги. След от сорванного орла на фронте бледнеет. Зеленая квадрига чернеет, очертания ее расплываются в сумерках. Она становится мрачной. Сквер пустеет. Цепями протягиваются непреклонные фигуры в тулупах поверх шинелей, в шлемах, с винтовками, с примкнутыми штыками. В переулках на конях сидят всадники в черных шлемах. Окна светятся. В Большом идет съезд. Другой такой: в излюбленный час театральной музыки, в семь с половиной, нет сияющей звезды, нет флагов, нет длинной цепи часовых у сквера. Большой стоит громадой, как стоял десятки лет. Между колоннами желто-тускловатые пятна света. Приветливые театральные огни. Черные фигуры текут к колоннам. Часа через два внутри полутемного зала в ярусах громоздятся головы. В ложах на темном фоне ряды светлых треугольников и ромбов от раздвинутых завес. На сукне волны света, и волной катится в грохоте меди и раскатах хора триумф Радамеса. В антрактах, в свете, золотым и красным сияет театр и кажется таким же нарядным, как раньше.

В антракте золото-красный зал шелестит. В ложах бенуара причесанные парикмахером женские головы. Штатские сидят, заложив ножку на ножку, и, как загипнотизированные, смотрят на кончики своих лакированных ботинок (я тоже купил себе лакированные). Чин антрактового действия нарушает только одна нэпманша. Перегнувшись через барьеры ложи в бельэтаже, она взволнованно кричит через весь партер, сложа руки рупором:

– Дора! Пробирайся сюда! Митя и Соня у нас в ложе!

Днем стоит Большой театр желтый и грузный, облупившийся, потертый. Трамваи огибают Малый, идут к нему. Мюр и Мерилиз, лишь начнет темнеть, показывает в огромных стеклах ряды желтых огней. На крыше его вырос круглый щит с буквами: «Государственный универсальный магазин». В центре щита лампа загорается вечером. Над Незлобинским театром две огненные строчки, то гаснут, то вспыхивают: «сегодня банкноты 251». В Столешниковом на экране корявые строчки: «Почему мы советуем покупать ботинки только в...» На Страстной площади на крыше экран – объявления, то цветные, то черные, вспыхивают и погасают. Там же, но на другом углу, купол вспыхнет, потом потемнеет, вспыхнет и потемнеет «Реклама».

Все больше и больше этих зыбких, цветных огней на Тверской, Мясницкой, на Арбате, Петровке. Москва заливается огнями с каждым днем все сильнее. В окнах магазинов всю ночь не гаснут дежурные лампы, а в некоторых почему-то освещение *à giorno*⁶. До полуночи торгуют гастрономические магазины МПО.

Москва спит теперь, и ночью не гася всех огненных глаз.

С утра вспыхивает гудками, звонками, разбрасывает по тротуарам волны пешеходов. Грузовики, ковыляя и погромыхивая цепями, ползут по разьеженному, рыхлому, бурому снегу. В ясные дни с Ходынки летят с басовым гудением аэропланы. На Лубянке вкруговую, как и прежде, идут трамваи, выскакивая с Мясницкой и с Большой Лубянки. Мимо первопечатника Федорова, под старой зубчатой стеной они один за другим валят под уклон вниз к «Метрополю». Мутные стекла в первом этаже «Метрополя» просветлели, словно с них бельма сняли, и показали ряды цветных книжных обложек. Ночью драгоценным камнем над подъездом светится шар Госкино II. Напротив через сквер неожиданно воскрес Тестов и высунул в подъезде карточку: «Крестьянский суп». В Охотном ряду вывески так огромны, что подавляют магазинчики. Но Параскева Пятница глядит печально и тускло. Говорят, что ее снесут. Это жаль. Сколько видал этот узкий проход между окнами с мясными тушами и ларьками букинистов и белым боком церкви, ставшей по самой середине улицы.

Часовню, что была на маленькой площади, там, где Тверская скрещивается с Охотным и Моховой, уже снесли.

Торговые ряды на Красной площади, являвшие несколько лет изумительный пример мерзости запустения, полны магазинов. В центре у фонтана гудит и шаркает толпа людей, торгующих валютой. Их симпатичные лица портит одно: некоторое выражение неуверенности в глазах. Это, по-моему, вполне понятно: в ГУМе лишь три выхода. Другое дело у Ильинских ворот – сквер, простор, далеко видно... Эпидемически буйно растут трактиры и воскресают. На Цветном бульваре в дыму, в грохоте рвутся с лязгом звуки «натуральной» польки:

Пойдем, пойдем, ангел милый,
Польку танцевать с тобой.
С-с-с-слышу, с-с-слышу с-с-сл...
...Польки звуки неземной!!

Извозчики теперь оборачиваются с козел, вступают в беседу, жалуются на тугие времена, на то, что их много, а публика норовит сесть в трамвай. Ветер мотает кинорекламы на полот-

⁶ яркое (*фр.*).

нищах поперек улицы. Заборы исчезли под миллионами разноцветных афиш. Зовут на новые заграничные фильмы, возвещают «Суд над проституткой Заборовой, заразившей красноармейца сифилисом», десятки диспутов, лекций, концертов. Судят «Санина», судят «Яму» Куприна, судят «Отца Сергия», играют без дирижера Вагнера, ставят «Землю дыбом» с военными прожекторами и автомобилями, дают концерты по радио, портные шьют стрелецкие гимнастерки, нашивают сияющие звезды на рукава и шевроны, полные ромбов. Завалили киоски журналами и десятками газет...

И вот брызнуло мартовское солнце, растопило снег. Еще басистей загудели грузовики, яростней и веселей. К Воробьевым горам уже провели ветку, там роют, возят доски, там скрипят тачки – готовят Всероссийскую выставку.

И, сидя у себя в пятом этаже, в комнате, заваленной букинистскими книгами, я мечтаю, как летом взлезу на Воробьевы, туда, откуда глядел Наполеон, и посмотрю, как горят сорок сороков на семи холмах, как дышит, блестит Москва. Москва – мать.

Московские сцены

На передовых позициях

– Ну-с, господа, прошу вас, – любезно сказал хозяин и царственным жестом указал на стол. Мы, не заставив себя просить вторично, уселись и развернули стоящие дыбом крахмальные салфетки.

Село нас четверо: хозяин – бывший присяжный поверенный, кузен его – бывший присяжный поверенный же, кузина, бывшая вдова действительного статского советника, впоследствии служащая в Совнархозе, а ныне просто Зинаида Ивановна, и гость – я – бывший... впрочем, это все равно... ныне человек с занятиями, называемыми неопределенными.

Первоапрельское солнце ударило в окно и заиграло в рюмках.

– Вот и весна, слава богу; измучились с этой зимой, – сказал хозяин и нежно взялся за горлышко графинчика.

– И не говорите! – воскликнул я и, вытащив из коробки кильку, вмиг ободрал с нее шкуру, затем намазал на кусок батона сливочного масла, прикрыл его килечным растерзанным телом и, любезно оскалив зубы в сторону Зинаиды Ивановны, добавил: – Ваше здоровье!

И затем мы глотнули.

– Не слабо ли... кхм... разбавил? – заботливо осведомился хозяин.

– Самый раз, – ответил я, переводя дух.

– Немножко как будто слабовато, – отозвалась Зинаида Ивановна.

Мужчины хором запротестовали, и мы выпили по второй. Горничная внесла миску с супом.

После второй рюмки божественная теплота разлилась у меня внутри и благодущие приняло меня в свои объятия. Я мгновенно полюбил хозяина, его кузена и нашел, что Зинаида Ивановна, несмотря на свои 38 лет, еще очень и очень недурна и борода Карла Маркса, помещавшегося прямо против меня рядом с картой железных дорог на стене, вовсе не так уж огромна, как это принято думать. История появления Карла Маркса в квартире поверенного, ненавидящего его всей душой, – такова. Хозяин мой – один из самых сообразительных людей в Москве, если не самый сообразительный. Он едва ли не первый почувствовал, что происходящее – шутка серьезная и долгая, и поэтому окопался в своей квартире не кое-как, кустарным способом, а основательно. Первым долгом он призвал Терентия, и Терентий изгадил ему всю квартиру, соорудив в столовой нечто вроде глиняного гроба. Тот же Терентий проковырял во всех стенах громадные дыры, сквозь которые просунул толстые черные трубы. После этого хозяин, полюбившись работой Терентия, сказал:

– Могут не топить парового, бандиты, – и поехал на Плющиху. С Плющихи он привез Зинаиду Ивановну и поселил ее в бывшей спальне, комнате на солнечной стороне. Кузен приехал через три дня из Минска. Он кузена охотно и быстро приютил в бывшей приемной (из передней направо) и поставил ему черную печечку. Затем пятнадцать пудов муки он всунул в библиотеку (прямо по коридору), запер дверь на ключ, повесил на дверь ковер, к коврику приставил этажерку, на этажерку пустые бутылки и какие-то старые газеты, и библиотека словно сгинула – сам черт не нашел бы в нее хода. Таким образом, из шести комнат осталось три. В одной он поселился сам, с удостоверением, что у него порок сердца, а между оставшимися двумя комнатами (гостиная и кабинет) снял двери, превратив их в странное двойное помещение.

Это не была одна комната, потому что их было две, но и жить в них как в двух было невозможно, тем более что в первой (гостиной) непосредственно под статуей голой женщины и рядом с пианино поставил кровать и, призвав из кухни Сашу, сказал ей:

– Тут будут приходить эти. Так скажешь, что спишь здесь.

Саша заговорщически усмехнулась и ответила:

– Хорошо, барин.

Дверь кабинета он облепил мандатами, из которых явствовало, что ему, юрисконсульту такого-то учреждения, полагается «добавочная площадь». На добавочной площади он устроил такие баррикады из двух полок с книгами, старого велосипеда без шин и стульев с гвоздями и трех карнизов, что даже я, отлично знакомый с его квартирой, в первый же визит после приведения квартиры в боевой вид разбил себе оба колена, лицо и руки и разорвал сзади и спереди пиджак по живому месту.

На пианино он налепил удостоверение, что Зинаида Ивановна – учительница музыки, на двери ее комнаты удостоверение, что она служит в Совнархозе, на двери кухни, что тот секретарь. Двери он стал отворять сам после 3-го звонка, а Саша в это время лежала на кровати возле пианино.

Три года люди в серых шинелях и черных пальто, объединенных молью, и девицы с портфелями и в дождевых брезентовых плащах рвались в квартиру, как пехота на проволочные заграждения, и ни черта не добились. Вернувшись через три года в Москву, из которой я легкомысленно уехал, я застал все на прежнем месте. Хозяин только немного похудел и жаловался, что его совершенно замучили.

Тогда же он и купил четыре портрета. Луначарского он пристроил в гостиной на самом видном месте, так что нарком стал виден решительно со всех точек в комнате. В столовой он повесил портрет Маркса, а в комнате кухни над великолепным зеркальным желтым шкафом кнопками прикрепил Л. Троцкого. Троцкий был изображен анфас, в пенсне, как полагается, и с достаточно благодушной улыбкой на губах. Но лишь хозяин впился четырьмя кнопками в фотографию, мне показалось, что председатель реввоенсовета нахмурился. Так хмурый он и остался. Затем хозяин вынул из папки Карла Либкнехта и направился в комнату кухни. Та встретила его на пороге и, ударив себя по бедрам, обтянутым полосатой юбкой, вскричала:

– Эт-того недоставало! Пока я жива, Александр Палыч, никаких Маратов и Дантонов в моей комнате не будет!

– Зин... при чем здесь Мара... – начал было хозяин, но энергичная женщина повернула его за плечи и выпихнула вон. Хозяин задумчиво повертел в руках цветную фотографию и сдал ее в архив.

Ровно через полчаса последовала очередная атака. После третьего звонка и стука кулаками в цветные волнистые стекла парадной двери хозяин, накинув вместо пиджака измызганный френч, впустил трех. Двое были в сером, один в черном с рыжим портфелем.

– У вас тут комнаты... – начал первый серый и ошеломленно окинул переднюю взором. Хозяин предусмотрительно не зажег электричества, и зеркала, вешалки, дорогие кожаные стулья и олени рога расплылись во мгле.

– Что вы, товарищи! – ахнул хозяин и всплеснул руками, – какие тут комнаты?! Верите ли, шесть комиссий до вас было на этой неделе. Хоть и не смотрите! Не только лишней комнаты нет, но еще мне не хватает. Извольте видеть, – хозяин вытащил из кармана бумажку, – мне полагается 16 аршин добавочных, а у меня 13½. Да-с. Где я, спрашивается, возьму 2½ аршина?

– Ну, мы посмотрим, – мрачно сказал второй серый.

– П-пожалуйста, товарищи!..

И тотчас перед ними предстал А. В. Луначарский. Трое, открыв рты, посмотрели на наркомпроса.

– Тут кто? – спросил первый серый, указывая на кровать.

– Товарищ Епишина, Александра Ивановна.

– Она кто?

– Техническая работница, – сладко улыбаясь, ответил хозяин, – стиркой занимается.

– А не прислуга она у вас? – подозрительно спросил черный.

В ответ хозяин судорожно засмеялся:

– Да что вы, товарищ! Что я, буржуй какой-нибудь, чтобы прислугу держать! Тут на еду не хватает, а вы прислуга! Хи-хи!

– Тут? – лаконически спросил черный, указывая на дыру в кабинет.

– Добавочная, 13½, под конторой моего учреждения, – скороговоркой ответил хозяин.

Черный немедленно шагнул в полутемный кабинет. Через секунду в кабинете с грохотом рухнул таз, и я слышал, как черный, падая, ударился головой о велосипедную цепь.

– Вот видите, товарищи, – зловеще сказал хозяин, – я предупреждал: чертова теснота.

Черный выбрался из волчьей ямы с искаженным лицом. Оба колена у него были разорваны.

– Не ушиблись ли вы? – испуганно спросил хозяин.

– А... бу... бу... ту... ту... ма... – невнятно пробурчал что-то черный.

– Тут товарищ Настурцина, – водил и показывал хозяин, – тут я, – и хозяин широко показал на Карла Маркса. Изумление нарастало на лицах трех. – А тут товарищ Щербовский, – и торжественно он махнул рукой на Л. Д. Троцкого.

Трое в ужасе глядели на портрет.

– Да он что, партийный, что ли? – спросил второй серый.

– Он не партийный, – сладко ухмыльнулся хозяин, – но он сочувствующий. Коммунист в душе. Как и я сам. Тут у нас все ответственные работники живут, товарищи.

– Ответственные, сочувствующие, – хмуро забубнил черный, потирая колено, – а шкафы зеркальные. Предметы роскоши.

– Рос-ко-ши?! – укоризненно ахнул хозяин, – что вы, товарищ?! Белье тут лежит последнее, рваное. Белье, товарищ, предмет необходимости. – Тут хозяин полез в карман за ключом и мгновенно остановился, побледнев, потому что вспомнил, что как раз вчера шесть серебряных подстаканников заложил между рваными наволочками.

– Белье, товарищи, – предмет чистоты. И наши дорогие вожди, – хозяин обеими руками указал на портреты, – все время указывают пролетариату на необходимость держать себя в чистоте. Эпидемические заболевания... тиф, чума и холера, все оттого, что мы, товарищи, еще недостаточно осознали, что единственным спасением, товарищи, является содержание себя в чистоте. Наш вождь...

Тут мне совершенно явственно показалось, что судорога прошла по лицу фотографического Троцкого и губы его расклеились, как будто он что-то хотел сказать. То же самое, вероятно, почудилось и хозяину, потому что он смолк внезапно и быстро перевел речь:

– Тут, товарищи, уборная, тут ванна, но, конечно, испорченная, видите, в ней ящик с тряпками лежит, не до ванн теперь, вот кухня – холодная. Не до кухонь теперь. На примусе готовим. Александра Ивановна, вы чего здесь, в кухне? Там вам письмо есть в вашей комнате. Вот, товарищи, и все! Я думаю просить себе еще дополнительную комнату, а то, знаете, каждый день себе коленки разбивать – эт-то, знаете ли, слишком накладно. Куда это надо обратиться, чтобы мне дали еще одну комнату в этом доме? Под контору.

– Идем, Степан, – безнадежно махнув рукой, сказал первый серый, и все трое направились, стуча сапогами, в переднюю.

Когда шаги смолкли на лестнице, хозяин рухнул на стул.

– Вот, любуйтесь, – вскричал он, – и это каждый божий день! Честное вам даю слово, что они меня доконают.

– Ну, знаете ли, – ответил я, – это неизвестно, кто кого доконает!

– Хи-хи! – хихикнул хозяин и весело грянул: – Саша! Давай самовар!..

Такова была история портретов, и в частности Маркса. Но возвращаюсь к рассказу.

...После супа мы съели бефстроганов, выпили по стаканчику белого «Айданиля» винделправления, и Саша внесла кофе. И тут в кабинете грянул рассыпчатый телефонный звонок.

– Маргарита Михална, наверно, – приятно улыбнулся хозяин и полетел в кабинет.

– Да... да... – слышалось из кабинета, но через три мгновения донесся вопль:

– Как?

Глухо заквакала трубка, и опять вопль:

– Владимир Иванович! Я же просил! Все служащие! Как же так?!

– А-а! – ахнула кузина, – уж не обложили ли его?!

Загремела с размаху трубка, и хозяин появился в дверях.

– Обложили? – крикнула кузина.

– Поздравляю, – бешено ответил хозяин, – обложили вас, дорогая!

– Как?! – кузина встала, вся в пятнах, – они не имеют права! Я же говорила, что в то время я служила!

– Говорила, говорила! – передразнил хозяин, – не говорить нужно было, а самой посмотреть, что этот мерзавец-домовой в списке пишет! А все ты! – повернулся он к кузену, – просил ведь, сходи, сходи! А теперь не угодно ли: он нас всех трех пометил!

– Ду-рак ты, – ответил кузен, наливаясь кровью, – при чем здесь я? Я два раза говорил этой каналье, чтоб отметил как служащих! Ты сам виноват! Он твой знакомый. Сам бы и просил!

– Сволочь он, а не знакомый! – загремел хозяин, – называется приятель! Трус несчастный. Ему лишь бы с себя ответственность снять.

– На сколько? – крикнула кузина.

– На пять-с!

– А почему только меня? – спросила кузина.

– Не беспокойся! – саркастически ответил хозяин, – дойдет и до меня и до него. Буква, видно, не дошла. Но только если тебя на пять, то на сколько же меня шарахнут?! Ну, вот что – рассиживаться тут нечего. Одевайтесь, поезжайте к районному инспектору – объясните, что ошибка. Я тоже поеду... Живо, живо!

Кузина полетела из комнаты.

– Что ж это такое? – горестно завопил хозяин, – ведь это ни отдыху ни сроку не дают. Не в дверь, так по телефону! От реквизиций отбрились, теперь налог. Доколе это будет продолжаться? Что они еще придумают?!

Он взвел глаза на Карла Маркса, но тот сидел неподвижно и безмолвно. Выражение лица у него было такое, как будто он хотел сказать:

– Это меня не касается!

Край его бороды золотило апрельское солнце.

Путевые заметки

Скорый № 7: Москва – Одесса

Отъезд

Новый Брянский вокзал грандиозен и чист. Человеку, не ездившему никуда в течение двух лет, все в нем кажется сверхъестественным. Уйма свободного места, блестящие полы, носильщики, кассы, возле которых нет остервеневших, измученных людей, рвущихся куда-то со стоном и руганью. Нет проклятий, липкой и тяжелой ругани, серых страшных мешков, раздавленных ребят, нет шмыгающих таинственных людей, живших похищением чемоданов и узлов в адской сумятице. Словом, совершенно какой-то неопиcуемый вокзал. Карманников мало, и одеты они все по-европейски. Носильщики, правда, еще хранят загадочный вид, но уже с некоторым оттенком меланхолии. Ведь билет можно купить за день в «Метрополе» (очередь 5–6 человек!), а можно и по телефону его заказать. И вам его на дом пришлют.

Единственный раз защемило сердце, это когда у дверей, ведущих на перрон, я заметил штук тридцать женщин и мужчин с чайниками, сидевших на чемоданах. Чемоданы, чайники и ребята загибались хвостом в общий зал. Увидев этот хвост, увидев, с каким напряжением и хмурой сосредоточенностью люди на чемоданах глядят на двери и друг на друга, я застыл и побледнел.

Боже мой! Неужели же вся эта чистота, простор и спокойствие – обман?! Боже мой! Распахнутся двери, взвоят дети, посыпятся стекла, «свистнут» бумажник... Кошмар! П посадка! Кошмар.

Проходивший мимо некто в железнодорожной фуражке успокоил меня:

– Не сомневайтесь, гражданин. Это они по глупости. Ничего не будет. Места нумерованы. Идите гулять, а за пять минут придите и сядьте в вагон.

Сердце мое тотчас наполнилось радостью, и я ушел осматривать вокзал.

Минута в минуту – 10 ч. 20 м. – мимо состава мелькнула красная фуражка, впереди хрипло свистнул паровоз, исчез застекленный гигантский купол и мимо окон побежали трубы, вагоны, поздний апрельский снег.

В пути

Это черт знает что такое! Хуже вокзала. Купе на два места. На диванах явно новые чехлы, на окнах занавески. Проводник пришел, отобрал билет и плацкарту и выдал квитанцию. В дверь постучали. Вежливости неопиcуемой человек в кожаной тужурке спросил:

– Завтракать будете?

– О да! Я буду завтракать!

А вот гармоник предохранительных между вагонами нет. Из вагона в вагон, через мотающиеся в беге площадки, в предпоследний вагон-ресторан. Огромные стекла, пол сплошь закрыт ковром, белые скатерти. Паровое отопление работает, и при входе сразу охватывает истома.

Стелется синеватый, слоистый дым над столами, а мимо в широких стеклах бегут перелески, поля с белыми пятнами снега, обнаженные ветви, рощи, опять поля.

И опять домой, к себе в вагон, через «жесткие», бывшие третьеклассные вагоны. В купе та же истома, от трубы под окном веет теплом – проводник затопил.

Вечером, после второго путешествия в ресторан и возвращения, начинается темнота. Как будто меньше снега на полях. Как будто здесь уже теплее. В лампах в купе накаливаются нити, звучат голоса в коридоре. Слышны слова «банкнот», «безбожник». Мелькают пестрые листы журналов, и часто проходит проводник с метелкой, выбрасывает окурки. В ресторан уходят джентльмены в изящных пальто, в остроносых башмаках, в перчатках. Станции пробегают в сумерках. Поезд стоит недолго, несколько минут. И опять, и опять мотает вагоны, сильнее идет тепло от труб.

Ночью стихает мягкий вагон, в купе раздеваются, не слышно сонного бормотания о банкноте, валюте, калькуляции, и в тепле и сне уходят сотни верст, Брянск, Конотоп, Бахмач.

Утром становится ясно: снегу здесь нет и здесь тепло.

В Нежине, вынырнув из-под колес вагона, с таинственным и взбудораженным лицом выскакивает мальчишка. Под мышками у него два бочоночка с солеными огурцами.

– Пятнадцать лимонов! – пищит мальчишка.

– Давай их сюда! – радостно кричат пассажиры, размахивая деньгами. Но с мальчишкой делается что-то страшное. Лицо его искажается, он проваливается сквозь землю.

– Сумасшедший! – недоумевают москвичи. Вслед за мальчишкой выскакивает баба и также в корчах исчезает.

Загадка объясняется тотчас же. Мимо вагонов идет непреклонный страж в кавалерийской шинели до пят и раздраженно бормочет:

– Вот чертовы бабы!

Потом обращается к пассажирам:

– Граждане! Не нарушайте правил. Не покупайте у вагона. Вон – лавка!

Пассажиры устремляются в погоню за нежинскими огурцами и покупают их без нарушения правил и с нарушением таковых.

Около часу дня, с опозданием часа на два, показывается из-за дарницких лесов Днепр, поезд входит на заштопанный после взрывов железнодорожный мост, тянется высоко над мутными волнами, и на том берегу разворачивается в зелени на горах самый красивый город в России – Киев.

Под обрывами разбегаются заржавевшие пути. Начинают тянуться бесконечные и побитые в трепке, в войне составы, классные и товарные. Мелькает смутная стертая надпись на паровозе – «Пролетар...»

Пробегают здание и на нем надпись – Київ-П.

Киев-город

Экскурс в область истории

Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубецкий монастырь на склонах! Зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. Черно-синие густые ночи над водой, электрический крест Св. Владимира, висящий в высоте...

Словом, город прекрасный, город счастливый. Мать городов русских.

Но это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное, юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег...

...И вышло совершенно наоборот.

Легендарные времена оборвались, и внезапно и грозно наступила история. Я совершенно точно могу указать момент ее появления: это было в 10 час. утра 2-го марта 1917 г., когда в Киев пришла телеграмма, подписанная двумя загадочными словами:

– Депутат Бубликов.

Ни один человек в Киеве, за это я ручаюсь, не знал, что должны были означать эти таинственные 15 букв, но знаю одно: ими история подала Киеву сигнал к началу. И началось, и продолжалось в течение четырех лет. Что за это время происходило в знаменитом городе, никакому описанию не поддается. Будто уэльсовская анатомистическая бомба лопнула под могилами Аскольда и Дира, и в течение 1000 дней гремело и клочкотало и полыхало пламенем не только в самом Киеве, но и в его пригородах, и в дачных его местах в окружности 20 верст радиусом.

Когда небесный гром (ведь и небесному терпению есть предел) убьет всех до единого современных писателей и явится лет через 50 новый, настоящий Лев Толстой, будет создана изумительная книга о великих боях в Киеве. Наживутся тогда книгоиздатели на грандиозном памятнике 1917–1920 годам.

Пока что можно сказать одно: по счету киевлян у них было 18 переворотов. Некоторые из теплушечных мемуаристов насчитали их 12; я точно могу сообщить, что их было 14, причем 10 из них я лично пережил.

В Киеве не было только греков. Не попали они в Киев случайно, потому что умное начальство их спешно увело из Одессы. Последнее их слово было русское слово:

– Вата!

Я их искренно поздравляю, что они не пришли в Киев. Там бы их ожидала еще худшая вата. Нет никаких сомнений, что их выкинули бы вон. Достаточно припомнить: немцы, железные немцы в тазах на головах, явились в Киев с фельдмаршалом Эйхгорном и великолепными, туго завязанными обозными фурами. Уехали они без фельдмаршала, и без фур, и даже без пулеметов. Все отняли у них разъяренные крестьяне.

Рекорд побил знаменитый бухгалтер, впоследствии служащий союза городов Семен Васильич Петлюра. Четыре раза он являлся в Киев, и четыре раза его выгоняли. Самыми последними, под занавес, приехали зачем-то польские паны (явление XIV-ое) с французскими дальнобойными пушками.

Полтора месяца они гуляли по Киеву. Испушенные опытом киевляне, посмотрев на толстые пушки и малиновые выпушки, уверенно сказали:

– Большевики опять будут скоро.

И все сбылось как по писаному. На переломе второго месяца среди совершенно безоблачного неба советская конница грубо и буденно заехала куда-то, куда не нужно, и паны в течение нескольких часов оставили заколдованный город. Но тут следует сделать маленькую оговорку. Все, кто раньше делали визит в Киев, уходили из него по-хорошему, ограничиваясь относительно безвредной шестидюймовой стрельбой по Киеву со святошинских позиций. Наши же европеизированные кузены вздумали щегольнуть своими подрывными средствами и разбили три моста через Днепр, причем Цепной – вдребезги.

И посейчас из воды вместо великолепного сооружения – гордости Киева, торчат только серые унылые быки. А поляки, поляки... Ай, яй, яй!..

Спасибо сердечное скажет вам русский народ.

Не унывайте, милые киевские граждане! Когда-нибудь поляки перестанут на нас сердиться и отстроят нам новый мост, еще лучше прежнего. И при этом на свой счет.

Будьте уверены. Только терпение.

Status praesens⁷

Сказать, что «Печерска нет», это будет, пожалуй, преувеличением. Печерск есть, но домов в Печерске на большинстве улиц нету. Стоят обглоданные руины, и в окнах кой-где переплетенная проволока, заржавевшая, спутанная. Если в сумерки пройтись по пустынным и гулким широким улицам, охватят воспоминания. Как будто шевелятся тени, как будто шорох из земли. Кажется, мелькают в перебежке цепи, дробно стучат затворы... вот, вот вырастет из булыжной мостовой серая, расплывчатая фигура и ахнет сипло:

– Стой!

То мелькнет в беге цепь и тускло блеснут золотые погоны, то пропляшет в беззвучной рыси разведка в жупанах, в шапках с малиновыми хвостами, то лейтенант в монокле, с негнувшейся спиной, то вылощенный польский офицер, то с оглушающим бешеным матом пролетят, мотая колоколами-штанами, тени русских матросов.

Эх, жемчужина – Киев! Беспокойное ты место!..

Но это, впрочем, фантазия, сумерки, воспоминание.

Днем, в ярком солнце, в дивных парках над обрывами – великий покой. Начинают зеленеть кроны каштанов, одеваются липы. Сторожа жгут кучи прошлогодних листьев, тянет дымом в пустынных аллеях. Редкие фигурки бродят по Мариинскому парку, склоняясь, читают надписи на вылинявших лентах венков. Здесь зеленые боевые могилки. И щит, окаймленный иссохшей зеленью. На щите исковерканные трубки, осколки измерительных приборов, разломанный винт. Значит, упал в бою с высот неизвестный летчик и лег в гроб в Мариинском парке.

В садах большой покой. В Царском светлая тишина. Будят ее только птичьи переклики да изредка доносящиеся из города звонки киевского коммунального трамвая.

Но скамеек нигде ни одной. Ни даже признаков скамеечек. Больше того: воздушный мост – стрелой перекинутый между двумя обрывами Царского сада, лишился совершенно всех деревянных частей. До последней щепочки разнесли настил киевляне на дрова. Остался только железный остов, по которому, рискуя своей драгоценной жизнью, мальчишки пробираются ползком и цепляясь.

В самом городе тоже есть порядочные дыры. Так, у бывш. Царской площади в начале Крещатика вместо огромного семиэтажного дома стоит обугленный скелет. Интересно, что

⁷ Современное состояние (лат.).

самое бурное время дом пережил и пропал на хозрасчете. По точному свидетельству туземцев, дело произошло так. Было в этом здании учреждение хозяйственно-продовольственного типа. И был, как полагается, заведующий. И, как полагается, дозаведовался он до того, что или самому пропасть, или канцелярии его сгореть. И загорелась ночью канцелярия. Слетелись, как соколы, пожарные, находящиеся на хозрасчете. И вышел заведующий, начал вертеться между медными касками. И словно заколдовал шланги. Лилась вода, гремела ругань, лазили по лестницам, и ничего не вышло – не отстояли канцелярию.

Но проклятый огонь, не состоящий на хозрасчете и не поддающийся колдовству, с канцелярии полез дальше и выше, и дом сгорел, как соломенный.

Киевляне – народ правдивый, и все в один голос рассказывали эту историю. Но даже если это и не так, все-таки основной факт налицо – дом сгорел.

Но это ничего. Киевское коммунальное хозяйство начало обнаруживать признаки бурной энергии. С течением времени, если все будет, даст бог, благополучно, все это отстроится.

И сейчас уже в квартирах в Киеве горит свет, из кранов течет вода, идут ремонты, на улицах чисто, и ходит по улицам этот самый коммунальный трамвай.

Достопримечательности

Это киевские вывески. Что на них только написано, уму непостижимо.

Оговариваюсь раз и навсегда: я с уважением отношусь ко всем языкам и наречиям, но тем не менее киевские вывески необходимо переписать.

Нельзя же в самом деле отбить в слове «гомеопатическая» букву «я» и думать, что благодаря этому аптека превратится из русской в украинскую. Нужно, наконец, условиться, как будет называться то место, где стригут и бреют граждан: «голярня», «перукарня», «цирульня» или просто-напросто «парикмахерская»!

Мне кажется, что из четырех слов – «молошна», «молочна», «молочарня» и «молошная» – самым подходящим будет пятое – молочная.

Ежели я заблуждаюсь в этом случае, то в основном я все-таки прав – можно установить единообразие. По-украински, так по-украински. Но правильно и всюду одинаково.

А то, что, например, значит «С. М. Р. іхел»? Я думал, что это фамилия. Но на голубом фоне совершенно отчетливы точки после каждой из трех первых букв. Значит, это начальные буквы каких-то слов? Каких?

Прохожий киевлянин на мой вопрос ответил:

– Чтоб я так жил, как я это знаю.

Что такое «Карасік» – это понятно, означает «Портной Карасик»; «Дитячій притулок» – понятно благодаря тому, что для удобства национальных меньшинств сделан тут же перевод: «Детский сад», но «смеріхел» непонятен еще более, чем «Коуту всерокомпама», и еще более ошеломляющ, чем «ідальня».

Население: нравы и обычаи

Какая резкая разница между киевлянами и москвичами! Москвичи – зубастые, напористые, летающие, спешащие, американизированные. Киевляне – тихие, медленные и без всякой американизации. Но американской складки людей любят. И когда некто в уродливом пиджаке с дамской грудью и наглых штанах, подтянутых почти до колен, прямо с поезда врывается в их переднюю, они спешат предложить ему чаю, и в глазах у них живейший интерес. Киевляне обожают рассказы о Москве, но ни одному москвичу я не советую им что-нибудь рассказывать. Потому что, как только вы выйдете за порог, они хором вас признают лгуном. За вашу чистую правду.

Лишь только я раскрыл рот и начал бесстрастное повествование, в глазах у моих слушателей появились такие веселые огни, что я моментально обиделся и закрылся. Попробуйте им объяснить, что такое казино, или «Эрмитаж» с цыганскими хорами, или московские пивные, где выпивают море пива и хоры с гармониками поют песнь оразбойнике Кудеяре: «...Господу Богу помолимся», что такое движение в Москве, как Мейерхольд ставит пьесы, как происходит сообщение по воздуху между Москвой и Кенигсбергом или какие хваты сидят в трестах и т. д.

Киев такая тихая заводь теперь, темп жизни так не похож на московский, что киевлянам все это непонятно.

Киев стихает к полуночи. Наутро чиновники идут на службу в свои всерокомпомы, а жены нянчат ребят, а свояченицы, чудом не сокращенные, напудрив носы, отправляются служить в «Ару».

«Ара» – солнце, вокруг которого, как земля, ходит Киев. Все население Киева разделяется на пьющих какао счастливцев, служащих в «Аре» (1-й сорт людей), счастливцев, получающих из Америки штаны и муку (2-й сорт), и чернь, не имеющую к «Аре» никакого отношения.

Женитьба заведующего «Арой» (пятая по счету) – событие, о котором говорят все. Ободранное здание Европейской гостиницы, возле которого стоят киевские джинрикши, – великий храм, набитый салом, хинином и банками.

И вот кончается все это. «Ара» в Киеве закрывается, заведующий-молодожен уезжает в июне на пароходе в свою Америку, а между свояченицами стоит скрежет зубовой. И в самом деле, что будет – неизвестно. Хозрасчет лезет в тихую заводь изо всех щелей, управляющий домом угрожает ремонтом парового отопления и носится с каким-то листом, в котором написано «смета в золотом исчислении».

А какое тут золотое исчисление у киевлян! Они гораздо беднее москвичей. И, сократившись, куда сунется киевская барышня? Плацдарм маленький, и всекомпомов на всех не хватит.

Аскетизм

Нэп катится на периферию медленно, с большим опозданием. В Киеве теперь то, что в Москве было в конце 1921 года. Киев еще не вышел из периода аскетизма. В нем, например, еще запрещена оперетка. В Киеве торгуют магазины (к слову говоря, дрянью), но не выпирают нагло «Эрмитажи», не играют в лото на каждом перекрестке и не шляются на дутых шинах до рассвета, напившись «Абрау-Дюрсо».

Слухи

Но зато киевляне вознаграждают себя слухами. Нужно сказать, что в Киеве целая пропасть старушек и пожилых дам, оставшихся ни при чем. Буйные боевые годы разбили семьи, как нигде. Сыновья, мужья, племянники или пропали без вести, или умерли в сыпняке, или оказались в гостеприимной загранице, из которой не знают, как обратно выбраться, или «сокращены по штату». Никаким компомам старушки не нужны, собес не может их накормить, потому что не такое учреждение собес, чтоб в нем были деньги. Старушкам действительно невмоготу, и живут они в странном состоянии: им кажется, что все происходящее – сон. Во сне они видят сон другой – желанную, чаемую действительность. В их головах рождаются картины...

Киевляне же, надо отдать им справедливость, газет не читают, находясь в твердой уверенности, что там заключается «обман». Но так как человек без информации немислим на земном шаре, им приходится получать сведение с евбазы (еврейский базар), где старушки вынуждены продавать канделябры.

Оторванность киевлян от Москвы, тлетворная их близость к местам, где зарождались всякие Тютюники, и, наконец, порожденная 19-м годом уверенность в непрочности земного является причиной того, что в телеграммах, посылаемых с евбаза, они не видят ничего невероятного.

Поэтому: епископ Кентерберийский инкогнито был в Киеве, чтобы посмотреть, что там делают большевики (я не шучу). Папа римский заявил, что если «это не прекратится», то он уйдет в пустыню. Письма бывшей императрицы сочинил Демьян Бедный...

В конце концов, пришлось плюнуть и не разуверять.

Три церкви

Это еще более достопримечательно, нежели вывески. Три церкви – это слишком много для Киева. Старая, живая и автокефальная, или украинская.

Представители второй из них получили от остроумных киевлян кличку:

– Живые попы.

Более меткого прозвища я не слышал во всю свою жизнь. Оно определяет означенных представителей полностью – не только со стороны их принадлежности, но и со стороны свойств их характера.

В живости они уступают только одной организации – попам украинским.

И представляют полную противоположность представителям старой церкви, которые не только не обнаруживают никакой живости, но, наоборот, медлительны, растерянны и крайне мрачны.

Положение таково: старая ненавидит живую и автокефальную, живая – старую и автокефальную, автокефальная – старую и живую.

Чем кончится полезная деятельность всех трех церквей, сердца служителей которых питаются злобой, могу сказать с полнейшей уверенностью: массовым отпадением верующих от всех трех церквей и ввержением их в пучину самого голого атеизма. И повинны будут в этом не кто иные, как сами попы, дискредитировавшие в лоск не только самих себя, но самую идею веры.

В старом, прекрасном, полном мрачных фресок, в Софийском соборе детские голоса – дисканты нежно возносят моления на украинском языке, а из царских врат выходит молодой человек, совершенно бритый и в митре. Умолчу о том, как выглядит сверкающая митра в сочетании с белесым лицом и живыми беспокойными глазами, чтобы приверженцы автокефальной церкви не расстраивались и не вздумали бы сердиться на меня (должен сказать, что пишу я все это отнюдь не весело, а с горечью).

Рядом – в малой церкви, потолок которой затянут траурными фестонами многолетней паутины, служат старые по-славянски. Живые тоже облюбовали себе места, где служат по-русски. Они молятся за Республику, старым полагается молиться за патриарха Тихона, но этого нельзя ни в коем случае, и думается, что не столько они молятся, сколько тихо анафемствуют, и, наконец, за что молятся автокефальные – я не знаю. Но подозреваю. Если же догадка моя справедлива, могу им посоветовать не тратить сил. Молитвы не дойдут. Бухгалтеру в Киеве не бывать.

В результате в головах киевских евбазных старушек произошло полное затмение. Представители старой церкви открыли богословские курсы; кадрами слушателей явились эти самые старушки (ведь это же нужно додуматься!). Смысл лекций прост – виноват во всей тройной кутерьме – сатана.

Мысль безобидная, на курсы смотрят сквозь пальцы, как на учреждение, которое может причинить вред лишь его участникам.

Первую неприятность из-за этих курсов получил лично я. Добрая старушка, знающая меня с детства, наслушавшись моих разговоров о церквах, пришла в ужас, принесла мне толстую книгу, содержащую в себе истолкование ветхозаветных пророчеств, с наказом непременно ее прочитать.

– Прочти, – сказала она, – и ты увидишь, что антихрист придет в 1932 году. Царство его уже наступило.

Книгу я прочел, и терпение мое лопнуло. Тряхнув кой-каким багажом, я доказал старушке, что, во-первых, антихрист в 1932 году не придет, а во-вторых, что книгу писал несомненный и грязно невежественный шарлатан.

После этого старушка отправилась к лектору курсов, изложила всю историю и слезно просила наставить меня на путь истины.

Лектор прочитал лекцию, посвященную уже специально мне, из которой вывел, как дважды два четыре, что я не кто иной, как один из служителей и предтеч антихриста, осрамив меня перед всеми моими киевскими знакомыми.

После этого я дал себе клятву в богословские дела не вмешиваться, какие б они ни были – старые, живые или же автокефальные.

Наука, литература и искусство

Нет.

Слов для описания черного бюста Карла Маркса, поставленного перед Думой в обрамлении белой арки, у меня нет. Я не знаю, какой художник сотворил его, но это недопустимо.

Необходимо отказаться от мысли, что изображение знаменитого германского ученого может вылепить всякий, кому не лень.

Трехлетняя племянница моя, указав на памятник, нежно говорила:

– Дядя Карла. Цёрный.

Финал

Город прекрасный, город счастливый. Над разлившимся Днепром, весь в солнечных пятнах.

Сейчас в нем великая усталость после страшных громыхавших лет. Покой.

Но трепет новой жизни я слышу. Его отстроят, опять закипят его улицы, и станет над рекой, которую Гоголь любил, опять царственный город. А память о Петлюре да сгинет.

Самогонное озеро

(Повествование)

В десять часов вечера под светлое воскресенье утих наш проклятый коридор. В блаженной тишине родилась у меня жгучая мысль о том, что исполнилось мое мечтанье, и бабка Павловна, торгующая папиросами, умерла. Решил это я потому, что из комнаты Павловны не доносилось криков истязуемого ее сына Шурки.

Я сладострастно улыбнулся, сел в драное кресло и развернул томик Марка Твена. О миг блаженный, светлый час!..

...И в десять с четвертью вечера в коридоре трижды пропел петух.

Петух – ничего особенного. Ведь жил же у Павловны полгода поросенок в комнате. Вообще Москва не Берлин, это раз, а во-вторых, человека, живущего полтора года в коридоре № 50, не удивишь ничем. Не факт неожиданного появления петуха испугал меня, а то обстоятельство, что петух пел в десять часов вечера. Петух – не соловей и в довоенное время пел на рассвете.

– Неужели эти мерзавцы напоили петуха? – спросил я, оторвавшись от Твена, у моей несчастной жены.

Но та не успела ответить. Вслед за вступительной петушиной фанфарой начался непрерывный вопль петуха. Затем завыл мужской голос. Но как! Это был непрерывный басовый вой в до-диез, вой душевной боли и отчаяния, предсмертный тяжкий вой.

Захлопали все двери, загремели шаги. Твена я бросил и кинулся в коридор.

В коридоре под лампочкой, в тесном кольце изумленных жителей знаменитого коридора, стоял неизвестный мне гражданин. Ноги его были растопырены, как ижица, он покачивался и, не закрывая рта, выпускал этот самый исступленный вой, испугавший меня. В коридоре я расслышал, что нечленораздельная длинная нота (фермато) сменилась речитативом.

– Так-то, – хрипло давился и завывал неизвестный гражданин, обливаясь крупными слезами, – Христос воскрес! Очень хорошо поступаете! Так не доставайся же никому!!! А-а-а-а!!

И с этими словами он драл пучками перья из хвоста у петуха, который бился у него в руках.

Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что петух совершенно трезв. Но на лице у петуха была написана нечеловеческая мука. Глаза его вылезали из орбит, он хлопал крыльями и выдирался из цепких рук неизвестного.

Павловна, Шурка, шофер, Аннушка, Аннушкин Миша, Дуськин муж и обе Дуськи стояли кольцом в совершенном молчании и неподвижно, как вколоченные в пол. На сей раз я их не виню. Даже они лишились дара слова. Сцену обдирания живого петуха они видели, как и я, впервые.

Квартхоз квартиры № 50 Василий Иванович криво и отчаянно улыбался, хватая петуха то за неуловимое крыло, то за ноги, пытался вырвать его у неизвестного гражданина.

– Иван Гаврилович! Побойся бога! – вскрикивал он, трезвея на моих глазах. – Никто твоего петуха не берет, будь он трижды проклят! Не мучай птицу под светлое Христово Воскресение! Иван Гаврилович, приди в себя!

Я опомнился первым и вдохновенным вольтом выбил петуха из рук гражданина. Петух взметнулся, ударился грузно о лампочку, затем снизился и исчез за поворотом, там, где Павловнина кладовка. И гражданин мгновенно стих.

Случай был экстраординарный, как хотите, и лишь поэтому он кончился для меня благополучно. Квартхоз не говорил мне, что я, если мне не нравится эта квартира, могу подыскать себе особняк. Павловна не говорила, что я жгу лампочку до пяти часов, занимаясь «неизвестно какими делами», и что я вообще совершенно напрасно затесался туда, где проживает она. Шурку она имеет право бить, потому это ее Шурка. И пусть я заведу себе «своих Шурок» и ем их с кашей. «Я, Павловна, если вы еще раз ударите Шурку по голове, подам на вас в суд, и вы будете сидеть год за истязание ребенка», – помогало плохо. Павловна грозилась, что она подаст «заявку» в правление, чтобы меня выселили. «Ежели кому не нравится, пусть идет туда, где образованные».

Словом, на сей раз ничего не было. В гробовом молчании разошлись все обитатели самой знаменитой квартиры в Москве. Неизвестного гражданина квартхоз и Катерина Ивановна под руки повели на лестницу. Неизвестный шел красный, дрожа и покачиваясь, молча и выкатив убойные, угасающие глаза. Он был похож на отравленного беленой (*atropa belladonna*).

Обессиленного петуха Павловна и Шурка поймали под кадушкой и тоже унесли.

Катерина Ивановна, вернувшись, рассказала:

– Пошел мой сукин сын (читай: квартхоз – муж Катерины Ивановны), как добрый, за покупками. Купил-таки у Сидоровны четверть. Гаврилыча пригласил – идем, говорит, попробуем. Все люди, как люди, а они наакались, прости господи мое согрешение, еще поп в церкви не звякнул. Ума не приложу, что с Гаврилычем сделалось. Выпили они, мой ему и говорит: чем тебе, Гаврилыч, с петухом в уборную иттить, дай я его подержу. А тот возьми, да взбеленись. А, говорит, ты, говорит, петуха хочешь присвоить? И начал выть. Что ему почудилось, господь его ведаст!..

В два часа ночи квартхоз, разговевшись, выбил все стекла, избил жену и свой поступок объяснил тем, что она заела ему жизнь. Я в это время был с женою у заутрени, и скандал шел без моего участия. Население квартиры дрогнуло и вызвало председателя правления. Председатель правления явился немедленно. С блестящими глазами и красный, как флаг, посмотрел на посиневшую Катерину Ивановну и сказал:

– Удивляюсь я тебе, Василь Иваныч: глава дома и не можешь с бабой совладать.

Это был первый случай в жизни нашего председателя, когда он не обрадовался своим словам. Ему лично, шоферу и Дуськину мужу пришлось обезоруживать Василь Иваныча, причем он порезал себе руку (Василь Иваныч после слов председателя вооружился кухонным ножом, чтобы резать Катерину Ивановну: «Так я ж ей покажу»).

Председатель, заперевав Катерину Ивановну в кладовке Павловны, внушал Иванычу, что Катерина Ивановна убежала, и Василь Иваныч заснул со словами:

– Ладно. Я ее завтра зарежу. Она моих рук не избежит.

Председатель ушел со словами:

– Ну и самогон у Сидоровны. Зверь самогон.

В три часа ночи явился Иван Сидорыч. Публично заявляю: если бы я был мужчина, а не тряпка, я, конечно, выкинул бы Ивана Сидорыча вон из своей комнаты. Но я его боюсь. Он самое сильное лицо в правлении после председателя. Может быть, выселить ему и не удастся (а может, и удастся, черт его знает!), но отравить мне существование он может совершенно свободно. Для меня же это самое ужасное. Если мне отравят существование, я не могу писать фельетоны, а если я не буду писать фельетоны, то произойдет финансовый крах.

– Драсс... гражданин журн... лист, – сказал Иван Сидорыч, качаясь, как былинка под ветром. – Я к вам.

– Очень приятно.

– Я насчет эсперанто...

– ?

– Заметку бы написа... статью... Желаю открыть общество... Так и написать: «Иван Сидорыч, эсперантист, желает, мол»...

И вдруг Сидорыч заговорил на эсперанто (кстати: удивительно противный язык).

Не знаю, что прочел эсперантист в моих глазах, но только он вдруг съежился, странные кургузые слова, похожие на помесь латинско-русских слов, стали обрываться, и Иван Сидорыч перешел на общедоступный язык.

– Впрочем... извин... с... я завтра.

– Милости просим, – ласково ответил я, подводя Ивана Сидорыча к двери (он почему-то хотел выйти через стену).

– Его нельзя выгнать? – спросила по уходе жена.

– Нет, детка, нельзя.

Утром, в девять, праздник начался матлотом, исполненным Василием Ивановичем на гармонике (плясала Катерина Ивановна), и речью вдребезги пьяного Аннушкиного Миши, обращенной ко мне. Миша от своего лица и от лица неизвестных мне граждан выразил мне свое уважение.

В 10 пришел младший дворник (выпивший слегка), в 10 ч. 20 м. старший (мертво-пьяный), в 10 ч. 25 м. истопник (в страшном состоянии). Молчал и молча ушел. 5 миллионов, данные мною, потерял тут же в коридоре.

В полдень Сидоровна нахально не долила на три пальца четверть Василию Ивановичу. Тот тогда, взяв пустую четверть, отправился куда следует и заявил:

– Самогоном торгуют. Желаю арестовать.

– А ты не путаешь? – мрачно спросили его где следует. – По нашим сведениям, самогону в вашем квартале нету.

– Нету? – горько усмехнулся Василий Иванович. – Очень даже замечательны ваши слова.

– Так вот и нету. И как ты оказался трезвый, ежели у вас самогон? Иди-ка лучше – пропись. Завтра подашь заявление, которые с самогоном.

– Тэк-с... понимаем, – сказал, ошеломленно улыбаясь, Василий Иваныч. – Стало быть, управы на их нету? Пущай не доливают. А что касается, какой я трезвый, понюхайте четверть. Четверть оказалась с «явно выраженным запахом сивушных масел».

– Веди! – сказали тогда Василию Ивановичу. И он привел.

Когда Василий Иванович проснулся, он сказал Катерине Ивановне:

– Сбегай к Сидоровне за четвертью.

– Очнись, окаянная душа, – ответила Катерина Ивановна, – Сидоровну закрыли.

– Как? Как же они понюхали? – удивился Василий Иванович.

Я ликовал. Но ненадолго. Через полчаса Катерина Ивановна явилась с полной четвертью. Оказалось, что забил свеженький источник у Макеича через два дома от Сидоровны. В 7 часов вечера я вырвал Наташу из рук ее супруга, пекаря Володи («Не смей бить!!», «Моя жена!» и т. д.).

В 8 часов вечера, когда грянул лихой матлот и заплясала Аннушка, жена встала с дивана и сказала:

– Больше я не могу. Сделай, что хочешь, но мы должны уехать отсюда.

– Детка, – ответил я в отчаянии, – что я могу сделать? Я не могу достать комнату. Она стоит 20 миллиардов, я получаю четыре. Пока я не допишу романа, мы не можем ни на что надеяться. Терпи.

– Я не о себе, – ответила жена. – Но ты никогда не допишешь романа. Никогда. Жизнь безнадежна. Я приму морфий.

При этих словах я почувствовал, что я стал железным.

Я ответил, и голос мой был полон металла:

– Морфию ты не примешь, потому что я тебе этого не позволю. А роман я допишу, и смею уверить, это будет такой роман, что от него небу станет жарко.

Затем я помог жене одеться, запер дверь на ключ и замок, попросил Дусю первую (не пьет ничего, кроме портвейна) смотреть, чтоб замок никто не ломал, и увез жену на три дня праздника на Никитскую к сестре.

Заключение

У меня есть проект. В течение двух месяцев я берусь произвести осушение Москвы если не полностью, то на 90 %.

Условия: во главе стану я. Штат помощников подберу я сам из студентов. Жалованье им нужно положить очень высокое (рублей 400 золотом. Дело оправдает). 100 человек. Мне – квартиру в три комнаты с кухней и одновременно 1000 рублей золотом. Пенсию жене, в случае если меня убьют.

Полномочия неограниченные. По моему ордеру брать немедля. Судебное разбирательство в течение 24 часов, и никаких замен штрафом.

Я произведу разгром всех Сидоровн и Макеичей и отраженный попутный разгром «Уголков», «Цветков Грузии», «Замков Тамары» и т. под. мест.

Москва станет как Сахара, и в оазисах под электрическими вывесками «Торговля до 12 час. ночи» будет только легкое красное и белое вино.

Псалом

Первоначально кажется, что это крыса царапается в дверь. Но слышен очень вежливый человеческий голос:

– Можно зайти?

– Можно, пожалуйста.

Поют дверные петли.

– Иди и садись на диван!

(*От двери.*) – А как я по паркету пойду?

– А ты тихонечко иди и не катайся. Ну-с, что новенького?

– Нициво.

– Позвольте, а кто сегодня утром ревел в коридоре?

(*Тягостная пауза.*) – Я ревел.

– Почему?

– Меня мама наслепала.

– За что?

(*Напряженнейшая пауза.*) – Я Сурке ухо укусил.

– Однако.

– Мама говорит, Сурка – негодяй. Он дразнит меня, копейки поотнимал.

– Все равно, таких декретов нет, чтоб из-за копеек уши людям кусать. Ты, выходит, глупый мальчик.

(*Обида.*) – Я с тобой не возусь.

– И не надо.

(*Пауза.*) – Папа придет, я ему скажу. (*Пауза.*) Он тебя застрелит.

– Ах, так. Ну, тогда я чай не буду делать. К чему? Раз меня застрелят...

– Нет, ты чай делай.

– А ты выпьешь со мной?

– С конфетами? Да?

– Непременно.

– Я выпью.

На корточках два человеческих тела – большое и маленькое. Музыкальным звоном кипит чайник, и конус жаркого света лежит на странице Джерома Джерома.

– Стихи-то ты, наверное, забыл?

– Нет, не забыл.

– Ну, читай.

– Ку... Куплю я себе туфли...

– К фраку.

– К фраку и буду петь по ночам...

– Псалом.

– Псалом... И заведу... себе собаку...

– Ни...

– Ни-ци-во-о...

– Как-нибудь проживем.

– Нибудь как. Пра-зи-ве-ем.

– Вот именно. Чай закипит, выпьем. Проживем.

(*Глубокий вздох.*) – Пра-зи-ве-ем.

Звон. Джером. Пар. Конус. Лоснится паркет.

– Ты одинокий.

Джером падает на паркет. Страница угасает.

(Пауза.) – Это кто же тебе говорил?

(Безмятежная ясность.) – Мама.

– Когда?

– Тебе пуговицу когда присивала. Присивала. Присивает, присивает и говорит Натаске...

– Тэк-с. Погоди, погоди, не вертись, а то я тебя обварю... Ух!

– Горящий, ух!

– Конфету какую хочешь, такую и бери.

– Вот я эту большую хоцу.

– Подуй, подуй, и ногами не болтай.

(Женский голос за сценой.) – Славка!

Стучит дверь. Петли поют приятно.

– Опять он у вас. Славка, иди домой!

– Нет, нет, мы с ним чай пьем.

– Он же недавно пил.

(Тихая откровенность.) – Я... не пил.

– Вера Ивановна. Идите чай пить.

– Спасибо, я недавно...

– Идите, идите, я вас не пушу...

– Руки мокрые... белье я вешаю.

(Непрошенный заступник.) – Не смей мою маму тянуть.

– Ну, хорошо, не буду тянуть... Вера Ивановна, садитесь...

– Погодите, я белье повешу, тогда приду.

– Великолепно. Я не буду тушить керосинку.

– А ты, Славка, выпьешь, иди к себе. Спать. Он вам мешает.

– Я не месаю. Я не салю.

Петли поют неприятно. Конусы в разные стороны. Чайник безмолвен.

– Ты уже спать хочешь?

– Нет, я не хоцу. Ты мне сказку Расскажи.

– А у тебя уже глаза маленькие.

– Нет. Не маленькие. Расскажи.

– Ну, иди сюда, ко мне. Голову клади. Так. Сказку? Какую же тебе сказку рассказать? А?

– Про мальчика, про того...

– Про мальчика? Это, брат, трудная сказка. Ну, для тебя так и быть.

Ну-с, так вот, жил, стало быть, на свете мальчик. Да-с. Маленький, лет так приблизительно четырех. В Москве. С мамой. И звали этого мальчика Славка.

– Угу... Как меня?

– ...Довольно красивый, но был он, к величайшему сожалению, драчун. И дрался он чем ни попало – кулаками, и ногами, и даже калошами. А однажды по лестнице девочку из восьмого номера, славная такая девочка, тихая, красавица, а он ее по морде книжкой ударил.

– Она сама дерется...

– Погоди. Это не о тебе речь идет.

– Другой Славка?

– Совершенно другой. На чем, бишь, я остановился? Да... Ну, натурально, пороли этого Славку каждый день, потому что нельзя же, в самом деле, драки позволять. А Славка все-таки не унимался. И дошло дело до того, что в один прекрасный день Славка поссорился с Шуркой, тоже мальчик такой был, и, не долго думая, хватя его зубами за ухо, и пол-уха как не бывало. Гвалт тут поднялся. Шурка орет. Славку порют, он тоже орет... Кой-как приклеили Шуркино ухо синтетиконом. Славку, конечно, в угол поставили... И вдруг – звонок. И является совер-

шенно неизвестный господин с огромной рыжей бородой и в синих очках и спрашивает басом: «А позвольте узнать, кто здесь будет Славка?» Славка отвечает: «Это я – Славка». «Ну, вот что, – говорит, – Славка, я – надзиратель за всеми драчунами, и придется мне тебя, уважаемый Славка, удалить из Москвы. В Туркестан». Видит Славка, дело плохо, и чистосердечно раскаялся. «Признаюсь, – говорит, – что дрался я и на лестнице играл в копейки, а маме бесовестно наврал – сказал, что не играл... Но больше этого не будет, потому что я начинаю новую жизнь». – «Ну, – говорит надзиратель, – это другое дело. Тогда тебе следует награда за чистосердечное твое раскаяние». И немедленно повел Славку в наградной раздаточный склад. И видит Славка, что там видимо-невидимо разных вещей. Тут и воздушные шары, и автомобили, и аэропланы, и полосатые мячики, и велосипеды, и барабаны. И говорит надзиратель: «Выбирай, что твоя душа хочет». А вот что Славка выбрал, я и забыл...

(*Сладкий, сонный бас.*) – Велосипет!

– Да, да, вспомнил, – велосипед. И сел немедленно Славка на велосипед и покатил прямо на Кузнецкий мост. Катит и в рожок трубит, а публика стоит на тротуаре, удивляется: «Ну и замечательный же человек этот Славка. И как он под автомобиль не попадет?» А Славка сигналы дает и кричит извозчикам: «Право держи!» Извозчики летят, машины летят, Славка нажаривает, и идут солдаты и марш играют, так что в ушах звенит...

– Уже?..

Петли поют. Коридор. Дверь. Белые руки, обнаженные по локоть.

– Боже мой. Давайте, я его раздену.

– Приходите же. Я жду.

– Поздно...

– Нет, нет... И слышать не хочу...

– Ну, хорошо.

Конусы света. Начинает звенеть. Выше фитиль. Джером не нужен – лежит на полу. В слюдяном окне керосинки маленький, радостный ад. Буду петь по ночам псалом. Как-нибудь проживем. Да, я одинокий. Псалом печален. Я не умею жить. Мучительнее всего в жизни – пуговицы. Они отваливаются, как будто отгнивают. Отлетела на жилете вчера одна. Сегодня одна на пиджаке и одна на брюках сзади. Я не умею жить с пуговицами, но я все вижу и все понимаю. Он не приедет. Он меня не застрелит. Она говорила тогда в коридоре Наташке: «Скоро вернется муж, и мы уедем в Петербург». Ничего он не вернется. Он не вернется, поверьте мне. Семь месяцев его нет, а три раза я видел случайно, как она плачет. Слезы, знаете ли, не скроешь. Но только он очень много потерял от того, что бросил эти белые, теплые руки. Это его дело, но я не понимаю, как же он мог Славку забыть...

Как радостно спели петли...

Конусов нет. В слюдяном окошке черная мгла. Давно замолк чайник.

Свет лампы тысячью маленьких глазков глядит сквозь реденький сатинет.

– Пальцы у вас замечательные. Вам бы пианисткой быть...

– Вот поеду в Петербург, опять буду играть...

– Вы не поедете в Петербург. У Славки на шее такие же завитки, как и у вас. А у меня тоска, знаете ли. Скучно так, чрезвычайно как-то. Жить невозможно. Кругом пуговицы, пуговицы, пуго...

– Не целуйте меня... Не целуйте... Мне нужно уходить. Поздно...

– Вы не уйдете. Вы там начнете плакать. У вас есть эта привычка.

– Неправда. Я не плачу. Кто вам сказал?

– Я сам знаю. Я сам вижу. Вы будете плакать, а у меня тоска... тоска...

– Что я делаю... что вы делаете...

Конусов нет. Не светит лампа сквозь реденький сатинет. Мгла. Мгла.

Пуговиц нет. Я куплю Славке велосипед. Не куплю себе туфли к фракку, не буду петь по ночам псалом. Ничего, как-нибудь проживем.

Золотистый город

I

Пища богов

- Жуткая свинья. От угла рояля до двери в комнату Анны Васильевны.
- Вася!! Ведь ты врешь?
- Вру? Вру? Поезжайте сами посмотрите! Это обидно, в конце концов, все, что ни скажу, все вру! Сто восемнадцать пудов свинья.
- Ты сам видел?
- Все видели.
- Нет, ты скажи, ты сам видел?
- Ну... мне Петров рассказывал... Чудовищная свинья!
- Лгун твой Петров чудовищный. Ведь такая свинья в товарный вагон не влезет, как же ее в Москву везли?
- Я почему знаю! Может быть, на этой... как ее... на открытой платформе. Или на грузовике.
- Где ж такую свинью развели?
- А черт ее знает! В каком-нибудь совхозе. Конечно, не мужицкая. Мужичьи свиньи паршивые, маленькие, как кошки. Вот и притащили им такую с автомобиль. Они посмотрят, посмотрят, да и сами заведут таких.
- Нет, Вася... Ты такой человек... такой человек...
- Ну, черт с вами! Не буду больше рассказывать!

II

На Москве-реке

Августовский вечер ясен. В пыльной дымке по Садовому кольцу летят гроыхающие ящики трамвая «Б» с красным аншлагом: «На выставку». Полным-полно. Обгоняют грузовики и легкие машины, поднимая облако пыли и бензинового дыму.

На Смоленском толчея усиливается. Среди шляпок и шляп вырастает белая чалма, среди спин пиджаков – полосатая спина бухарского халата. Еще какие-то шафранные скуластые лица, раскосые глаза.

Каменный мост в ущелье-улице показывается острыми красными пятнами флагов. По мосту, по пешеходным дорожкам льется струя людей, и навстречу, гудя, вылезает облупленный автобус. С моста разворачивается городок. С первого же взгляда в заходящем солнце на берегу Москвы-реки он легкий, воздушен, стремителен и золотист.

Публика высыпается из трамвая, как из мешка. На усыпанных песком пространствах перед входами муравейник людей.

Продавцы с лотками выкрикивают:

- Дюшес, дюшес сладкий!

И машины рвякают, ползают, пробираясь в толпе. На остановках стена людей, осаждающих обратные «Б», а у касс хвосты.

И всюду дальше дерево, дерево, дерево. Свежее, оструганное, распиленное, золотое, сложившееся в причудливые башни, павильоны, фигуры, вышки.

Чешуя Москвы-реки делит два мира. На том берегу низенькие, одноэтажные красные, серенькие домики, привычный уют и уклад, а на этом – разметавшийся, острокрыший, островерхий, колючий город-павильон.

Из трамвая, отдуваясь, выбирается фигура хорошо и плотно одетая, с золотой цепочкой на животе, окидывает взором буйную толчею и бормочет:

– Черт их знает, действительно! На этом болоте лет пять надо было строить, а они в пять месяцев построили! Манечка! Надо будет узнать, где тут ресторан!

Толстая Манечка, гремя и сверкая кольцами, браслетами, цепями и камнями, впивается в пиджак, и пара спешит к кассам.

Турникеты скрипят, и продавцы и продавщицы значков Воздушного Флота налетают со всех сторон.

– Гражданин, значок! Значок!

– Газета «Смычка» с планом выставки! Десять рублей! С подробным планом!

Под ногами хрустит песок. Направо разноцветный, штучный, словно из детских кубиков сложенный павильон.

III

Кустарный

Из глубины – медный марш. У входа, в синей форме, в синем мягком шлеме, дежурный пожарный. «Зажигать огонь и курить строго воспрещается». Сигнал. «В случае пожара...» и т. д. У стола отбирают дамские сумки и портфели.

Трехсветный, трехэтажный павильон весь залит пятнами цветных экспонатов по золотому деревянному фону, а в окнах синеющая и стальная гладь Москвы-реки.

«Sibcustrum» – изделия из мамонтовой кости. Маленький бюст Троцкого, резные фигурные шахматы, сотни вещей и безделушек.

Горностаевым мехом по овчине белые буквы «Н. К.В. Т.» и щиты, и на щитах меха. Черно-бурые лисицы, черный редкий волк, песцы разные – недопесок, синяк, гагара. Соболя прибайкальские, якутские, нарынские, росомахи темные.

Бледный кисейный вечерний свет в окне и спальня красного дерева. Столовая. И всюду Троцкий, Троцкий, Троцкий. Черный бронзовый, белый гипсовый, костяной, всякий.

«Игрушки – радость детей», и Кустсоюз выбросил ликующую золото-сине-красную гамму и карусель.

Мальцевский завод, Кузнецовские фабрики работают, и Продасиликат устали полки разноцветным стеклом, фарфором, фаянсом, глиной. Разрисованные чайники, чашки, посуда – экспорт на Восток, в Бухару.

Комиссия, ведающая местами заключения, показала работы заключенных: обувь, безделушки. Портрет Карла Маркса глядит сверху.

«Gosspirit». От легких растворителей масел, метиловых спиртов и ректификата к разноцветным 20-градусным водкам, пестроэтикетной башенной рябиновке-смирновке. Мимо плывет публика, и вздохи их вьются вокруг поставца, ласкающего взоры. Рюмки в ряду ждут избранных – спецов-дегустаторов.

Уральские самоцветы, яшма, малахит, горный дымчатый хрусталь. На гигантском столе модель фабрики галош, опять меха, ткани, вышивки, кожи. Вижу в приволе, куда сбегают легкие лестницы, экипажи, брички показательной, образцовой мастерской. Бочки, оси, колеса...

Лампы вспыхивают под потолком, на стенах, павильон наливается теплым светом, угасает Москва-река за окном.

IV

Цветник-Ленин

Шуршит песок. Тень легла на Москву. Белые шары горят, в высоте арка оделась огнями. Киоск с пивом осаждают. Духота.

Главное здание – причудливая смесь дерева и стекла.

В полумраке – внутренний цветник. У входа – гигантские разные деревянные торсы. А на огромной площади утонула трибуна в гуще тысячной толпы. Слов не слышно, но видна женская фигура. Несомненно, деревенская баба в белом платочке. Последние ее слова покрывает не крик, а грохот толпы, и отзывается на него издали затерявшийся под краем подковы – главного павильона – оркестр. С трибуны исчезает белый платок, вместо него черный мужской силуэт.

– Доро-гой! Ильич!!

Опять грохот. Затем буйный марш, и рядами толпа валит между огромным цветником и зданием открытого театра к Нескучному на концерт. В рядах плывут клинобородые мужики, армейцы в шлемах, пионеры в красных галстуках, с голыми коленями, женщины в платочках, сельские бородатые захолустные фигуры и московские рабочие в картузах.

Даму отрезало рекой от театра. Она шепчет:

– Не выставка, а черт знает что! От пролетариата прохода нет. Видеть больше не могу!

Пиджак отзывается сиплым шепотом:

– Н-да, трудногато!

И их начинает вертеть в водовороте.

К центру цветника непрерывное паломничество отдельных фигур. Там знаменитый на всю Москву цветочный портрет Ленина. Вертикально поставленный, чуть наклонный, двускатный щит, обложенный землей, и на одном скате с изумительной точностью выращен из разноцветных цветов и трав громадный Ленин, до пояса. На противоположном скате отрывок из его речи.

Три электросолнца бьют сквозь легкие трельяжи, решетки и мачты открытого театра. Все дерево, все воздушное, сквозное, просторное. На громадной сцене медный оркестр льет вальс, и черным-черны скамьи от народу.

V

Вечер. Узбеки

Тень покрывает город и Москву-реку. В фантастическом выставочном цветнике полумрак, и в нем цветочный Ленин кажется нарисованным на громадном полотне.

Павильоны, что тянутся по берегу реки к Нескучному, начинают светиться. Ослепительно-ярко загорается павильон с гипсовыми мощными торсами, поддерживающими серые

пожарные шланги. На фронтоне, на стене надписи. Пожары в деревне. Борьба с пожарами. В павильоне полный свет, но еще стоят внутри кой-где леса. Он еще не окончен.

– Не беспокойтесь, завтра откроют. Со мной так было: утром придешь, посмотришь работу, а вечером этого места не узнаешь – кончили!

И опять: свет, потом полумрак. Горит павильон Сельскохозяйственного. В стеклах дыни, груши. Рядом – темноватая глыба. Чернеет подпись «Закрито». В полумраке, в отсвете ламп с отдаленных фонарей, в кафе на берегу реки, едят и пьют. Сюда, на берег реки, еще не дали света.

По Москве-реке бегут огоньки на лодках. Стучит в отдалении мотор, и распластаный гидроплан прилепился к самому берегу. Армейцы в шлемах тучей облепили загородку, смотрят водяную алюминиевую птицу.

В полумраке же квадраты и шашечные клетки показательных орошаемых участков, темны и неясны очертания у цветников, окаймляющих павильоны рядом белых астр. Пахнут по-вечернему цветы табака.

По дорожкам народ группами стремится к Туркестанскому павильону, входит в него толпами. Внутри блестит причудливая деревянная резьба, свет волной. Снаружи он расписан пестро, ярко, необыкновенно.

И тотчас возле него начинает приветливо пахнуть шашлыком.

Там, где беседка под самым берегом, память угасшего, отжившего века Екатерины – Павла – Александра, на грани, где зеленым морем надвигается Нескучный сад с огнями электрическими, резкими, новыми, вдоль берега кипят гигантские самовары, бродят тюбетейки, чалмы.

За Туркестанским хитрым, расписным домом библейская какая-то арба. Колеса-гиганты, гигантские шляпки гвоздей, гигантские оглобли. Арба. Потом по берегу, вдоль дороги, под деревьями навесы деревянные и низкие настилы, крытые восточными коврами. Манит сюда запах шашлыка москвичей, и белые московские барышни, ребята, мужчины в европейских пиджаках, поджав ноги в остроносых ботинках, с расплывшимися улыбками на лицах, сидят на пестрых толстых тканях. Пьют из каких-то безруких чашек. Стоят перетянутые в талию, тускло блестящие восточные сосуды.

В печах под навесами бушует красное пламя, висят на перекладинах бараньи освежавшие туши. Мечутся фартуки. Мелькают черные головы.

Раскаленный уголь в извитую громоздкую трубку, и черный неизвестный восточный гражданин республики курит.

– Кто вы такие? Откуда? Национальность?

– Узбеки. Мы.

Что ж. Узбеки так узбеки. К узбеку в кассу сыпят пятидесяти- и сторублевые бумажки.

– Четыре порции. Шашлык.

Пельмени ворчат у печей. Жаром веет. Хруст и говор. Едят маслящиеся пельмени, едят какой-то витой белый хлеб, волокут шашлык на тарелках.

Мимо навесов по дороге непрерывно идут и идут в Нескучный сад. Оттуда доносится то глухо, то яркими взрывами музыка.

VI

Движение

По дорожкам, то утрамбованным, то зыбким и рыхлым, снуют и снуют, идут вперед к туркестанцам, идут назад к выходам. По дороге еще буфет и тоже темно. Также еще не дали свету. Но и там звенят ложечки и стаканы.

Круглое, светящееся преграждает путь. Павильон Нарпита. В кольцевой галерее снаружи, конечно, едят и пьют, и подает «услуживший» в какой-то диковинной фуражке с красным ярлыком. Внутри, в стеклянном граненом павильоне, чинно и чисто. Диаграммы, масляными красками вдоль всей верхней части стены картины будущего общественного питания. Общественные кухни с наилучшим техническим оборудованием. Общественные столовые.

Посередине сервирован стол. Так чисто, на красивой посуде будут есть, когда процветет «Narpit».

Выставка теперь живет до 12 часов ночи. Но за два, за три часа по пескам, в суете, по пространству с уездный город, и вот ноги больше не хотят ходить.

На выставку надо ездить много – раз пять, шесть, чтобы успеть хоть сколько-нибудь добросовестно осмотреть, что-нибудь запомнить, всюду побывать.

На выход! На выход! Домой!

И вот у выходов долгий, скучный, тяжелый фокус. Отсюда в город трамвай идет полный, до отказа. Тучи ждут. Когда в него попадешь?

Вон мелькнула надежда. Стоит черный автомобиль с продолговатыми лавками.

– Берете публику?

– Нет. Это машина Горбанка.

Но вот спасительный красный ящик. Неуклюж, как слон, облуплен, тяжел, грузен.

– До Страстного?

– Семьдесят пять рублей.

Скорее садиться. Места занимают вмиг.

О боже! Кишки вытрясет!

Последним на ходу вскакивает некто с портфелем. Физиономия настолько озабоченная, портфель настолько внушительный, взгляды настолько сосредоточенные, что сразу видно – не простой смертный, а выставочный. Так и есть.

– Вот я организую автобусное движение. На хороших машинах.

– Очень бы хорошо было. А то, знаете ли, пропадешь.

– Еще бы... Ведь это не машина, а...

Но не успел организатор сказать, что именно. Тряхнуло так, что язык вскочил между зубами. Так и надо. Скорее организовывай.

И загудело, и замотало, и начало качать по набережной к храму Христа.

– Только бы живым выйти!

VII

Через две недели

Две недели я не был на выставке, и за эти две недели резко изменился деревянный город. Он окрасился, покрылся цветными пятнами. Затем исчезли последние леса у павильонов, исчез мусор. Почва под сентябрьским солнцем высохла, утрамбовалась, и идти теперь легко.

Потом город запыхтел, и застучал, и заиграл. Посетителей стало все больше, и в праздничные дни начинается толчея. Впечатление такое, что всех вливающих за турникеты охватывает какое-то радостное возбуждение. Крики газетчиков, звуки оркестров, толпа, краски – все это поднимает настроение. Как грибы, выросли киоски – пивные, папиросные, винные, фруктовые, молочные. И надо сказать, что они очень облегчают осмотр и хождение. За несколько часов ходьбы под теплым солнцем хочется пить.

VIII

Надия на Бога и пожарный телеграф

Зычный пожарный трубный сигнал. Белый павильон, испещренный лозунгами. «Центральный пожарный отдел».

Громадные белые торсы поддерживают серые шланги. Кто делал? Резинотрест.

Дальше брезентовые костюмы на манекенах, каски, упряжь, насосы. Диаграммы, рисунки, плакаты, картины.

Смысл: деревню надо отстоять. Деревню надо учить не только бороться с пожарами, но и их предупреждать.

Во всю стену огнеупорная стена из «соломита» – прессованной соломы. Работа Стройноторга.

Над соломитом громадное полотно: без всяких футуристических ухищрений реально написана картина – горит деревня. Мечутся лошади, полыхает пламя, и женщины простоволосые стирают руки к небу. Старуха с иконой.

Подпись: «Кому разум не помог, молитва не поможет».

Харьков выставил литографии. На одной украинец, спокойный и веселый, у беленькой хаты. Он потому спокойный, что он меры против пожара принимал.

А рядом нищий, оборванный у пепелища. «Я не вживав заходяв проти пожеж. Жив на одчай и покладав надию на Бога – й пожежа довела мене до вбожества».

Красные блестящие коробки пожарных телеграфов, сложные телефоны, сигнализация, модели, показывающие, как проложить трубы от печек, чтобы они были безопасны, ценные огнетушители «Богатыря» и «Рекорда», водоподъемник системы «Шенелис», всевозможные виды керосиновых ламп и лозунги, лозунги и диаграммы.

Голос руководителя:

– Этим концом ударяете об землю и затем направляете струю куда угодно...

IX

Как сберечь свои леса

В Дом крестьянина – большой двухэтажный дом – вовлекла толпа экскурсантов.

Женщина с красной повязкой на рукаве шла впереди и объясняла:

– Сейчас, товарищи, мы с вами пройдем в Дом крестьянина, где вы прежде всего увидите уголок нашего Владимира Ильича...

В Доме такая суета, что разбегаются глаза и смутно запоминаются лишь портреты Ленина, Калинина и еще какие-то картинки.

Стучат, ведут вверх, вниз. И вдруг – дверь, и, оказывается, внутри театр. Сцена без занавеса. У избушки баба в платочке, целый конклав умных клинобородых мужиков в картузах и сапогах и один глупый, мочальный и курносый, в лаптях. Он, извольте видеть, без всякого понятия свел целый участок леса.

– Товарищи! Мыслимое ли это дело? А? – восклицает умный, украшенный картузом, обращаясь к публике, – прав он или не прав? Если не прав, поднимите руки.

Публика с удовольствием созерцает дурака, вырубившего участок, но, не будучи еще приучена к соборному действию, рук не поднимает.

– Выходит, стало быть, прав? Пущай рубает? Здорово! – волнуется картуз на сцене. – Товарищи, кто за то, что он не прав, прошу поднять руки!

Руки поднимаются у всех.

– Это так! – удовлетворен обладатель цивилизованного головного убора. – Присудим мы его назвать дураком!

И дурак с позором уходит, а умные начинают хором петь куплеты. Заливается гармония.

Надо, надо нам учиться,
Как сберечь свои леса,
Чтоб потом не очутиться
Без избы и колеса!

Ходят, выходят, спешно распаковывают какую-то посуду. Вероятно, для крестьянской столовки. И опять валит навстречу толпа, и опять женский голос:

– ...и увидите уголок Владимира...

Х

Карамель, табак и пиво

От Дома крестьянина по берегу реки дальше вглубь в зелень, к Нескучному саду. Неузнаваемое место. По-прежнему вековые деревья и тени, гладь пруда, но в зелени белые, цветные, причудливые здания. И почти изо всех пыхтенье, стрекотание, стук машин.

Вот он, Моссельпром. Грибом каким-то. Под шапкой надпись «Ресторан».

И со входа сразу охватывает сладкий запах карамели. Белые колпаки, снежные халаты. Мнут карамельную массу, машина режет карамельные конуса. На плитах тазы с начинкой. Барышни-зрительницы висят на загородке – симпатичный павильон! 2-я государственная кондитерская фабрика имени П. А. Бабаева, бывшие знаменитые «Абрикосов и сыновья».

На стенах – диаграммы государственного дрожжевого № 1 завода Моссельпром.

В банках и ампулах сепарированные дрожжи, сусло, солод ячменный и овсяной, культуры дрожжей.

Диаграммы производительности 1-й государственной макаронной фабрики все того же вездесущего Моссельпрома.

В январе 1923 года макаронных изделий – 7042 пуда, в мае – 10 870 пудов.

В следующем отделении запах табака убивает карамель. Халаты на работницах синие. «Дукат». По-иностранному тоже написано: «Doukat». Машин режут, набивают, клеют гильзы. Выставка разноцветных коробок, и среди них уже появились «Привет с выставки».

Дальше приютился славный фруктовый бывш. Калинин, ныне Первый завод фруктовых вод.

В карбонизаторе при 5 атмосферах углекислота насыщает воду. Фильтры Chamberland'a.

Разлив пива. Машина брызжет, моет бутылки, мелькают изумительного проворства руки работниц в тяжелых перчатках. Вертится барабан разливной машины, и пенистое золотистое пиво Моссельпрома лезет в бутылки.

За стойкой тут же посетители его покупают и пьют кружками.

Показательная выставка бутылок – что выпускает бывш. Калинин теперь? Все. По-прежнему сифоны с содовой и сельтерской, по-прежнему разноцветные бутылки со всевозможными водами. И приятны ярлыки: «На чистом сахаре».

XI

Опять табак, потом шелка, а потом усталость

Здесь что? Павильон Табакотреста.

Здесь б. Асмолов, а теперь Донская государственная фабрика в Ростове-на-Дону. Тоже режут машины табак, набивают папиросы. Здесь торгуют специальными расписными острогранными коробками по сотне только что изготовленных папирос.

Растут зеленые лапчатые табаки – тыккульк, дюбек, тютюн. Стоят модели огневых сушильных сараев, висят цапки, шнуры, иглы. Пестрят лозунги: «Мотыжење в пору – даст обилие сбору», «Вершки и пасынок оборвешь, лучший лист соберешь».

Идет заведующий и говорит о том, насколько сократилась площадь плантаций в России и какие усилия употребляются, чтобы поощрить табаководство на Кубани, в Крыму, на Кавказе.

Гильз на рынке мало, и теперь в России не выделяют табаку, а только готовые папиросы.

* * *

Недалеко от павильона, где работает Асмолов, павильон с гигантским плакатом «Махорка». Плакат кричит крестьянину: «Сей махорку – это выгодно»...

Довольно табаку! Дальше!

* * *

И вот павильон текстильный. ВСНХ. Здесь прекрасно. Во-первых, он внешне хорош. Два корпуса, соединенных воздушной галереей-балконом с точеной балюстрадой. Зелень обступила текстильное царство. Внутри же бесконечная в двух этажах гамма красок, бесконечные волны шелков, полотен, шевиотов, ситцу, сукон.

Начинается с Петроградского гос. пенькового треста «The Petrograd State Hemp Trust», выставившего канаты, и мешки, и веревки, и диаграммы, а дальше непрерывным рядом драпированных гостиных идут вязниковские льняные фабрики, опять пеньковые тресты, Гаврило-Ямская мануфактура с бельевыми и простынными полотнами и десятки трестов: шелкотрест, хлопчатобумажный трест, суконный трест, Иваново-Вознесенский текстильный... камвольный «Мострикоб»...

Московский текстильный институт со своими шелковичными червями, которые тут же непрерывно жуют, жуют груды зеленых листьев...

После осмотра текстильного треста ноги больше не носят. Назад, к Москве-реке, к лавочкам, отдыхать, курить, смотреть, но не «осматривать»... В один раз не осмотришь все равно и десятой доли. Поэтому – назад. Мясохладобойни, скороморозилки Наркомтруда – потом, павильон НКПСа – потом (сияющий паровоз вылезает прямо в цветник), Мосполиграф – потом...

К набережной – смотреть закат.

ХП

Кооперация! Кооперация! Неудачник японец

А он прекрасен – закат. Вдали догорают золотые луковицы Христа Спасителя, на Москvere лежат зыбкие полосы, а в городе-выставке уже вспыхивают бледные электрические шары.

Толпа густо стоит перед балконом павильона Центросоюза, обращенным на реку. Цветные пестрые ширмы на балконе, а под ними три фигурки. Агитационный кооперативный Петрушка.

За прилавком круглый купец в жилетке объегоривает мужика. В толпе взмывает смех. И действительно, мужик замечательный. От картуза до котомки за спиной. Какое-то особенное, специфически мужицкое лицо. Сделана фигурка замечательно. И голос у мужика неподражаемый. Классный мужик.

– Фирма существует 2000 лет, – рассыпается купец.

– Батюшки! – изумляется мужик.

Он машет деревянными руками, и трясет бородой, и призывает господа бога, и получает от жулика-купца крохотный сверток товара за миллиард.

Но является длинноносый Петрушка-кооператор, в зеленом колпаке, и вмиг разоблачает штуки толстосума, и тут же устраивает кооперативную лавку, и заваливает мужика товаром. Победенный купец валится на бок, а Петрушка танцует с мужиком дикий радостный танец, и оба поют победную песнь своими голосами:

Кооперация! Кооперация!
Даешь профит ты нации!..

– Товарищи, – вопит мужик, обращаясь к толпе, – заключим союз и вступим все в Центросоюз.

* * *

У пристани Доброфлота – сотни зрителей. Алюминиевая птица – гидроаэроплан RRDaе – в черных гигантских калошах стоит у берега. Полет над выставкой – один червонец с пассажира. В толпе – разговоры, уже описанные незабвенным Иваном Федоровичем Горбуновым.

– «Юнкерс» шибче «Фоккера»!

– Ошибаетесь, мадам, «Фоккер» шибче.

– Удивляюсь, откуда вы все это знаете?

– Будьте покойны. Нам все это очень хорошо известно, потому мы в Петровском парке живем.

– Но ведь вы сами не летаете?

– Нам ни к чему. Сел на 6-й номер – и в городе.

– Трусите?

– Червонца жалко.

– Идут. Смотрите, японцы идут! Летать будут!

Три японца, маленькие, солидные, сухие, хорошо одетые, в роговых очках. Публика встречает их сочувственным гулом за счет японской катастрофы.

Двое влезли благополучно и нырнули в кабину, третий сорвался с лестнички, и в полосатых брюках, и в клетчатом пальто, и в широких ботинках – сел в воду с плеском и грохотом.

В первый раз в жизни был свидетелем молчания московской толпы. Никто даже не хихикнул.

– Не везет японцам в последнее время...

Через минуту гидроплан стремительно проходит по воде, подымая бурный пенный вал, а через две – он уже уходит гудящим жуком над Нескучным садом.

– Улетели три червончика, – говорит красноармеец.

ХIII

Бои за трактор. Владимирские рожечники

Вечер. Весь город унизан огнями. Всюду белые ослепительные точки и кляксы света, а вдали начинают вертеться в темной вечерней зелени цветные рекламные колеса и звезды.

В театре три электрических солнца заливают сцену. На сцене стол, покрытый красным сукном, зеленый огромный ковер и зелень в кадках. За столом президиум – в пиджаках, куртках и пальтишках. Оказывается, идет диспут: «Трактор и электрификация в сельском хозяйстве».

Все лавки заняты. Особенно густо сидят.

Наступает жгучий момент диспута.

Выступал профессор-агроном и доказывал, что нам в настоящий момент трактор не нужен, что при нашем обнищании он ляжет тяжелым бременем на крестьянина. Возражать скептику и защищать его записалось 50 человек, несмотря на то что диспут длится уже долго.

За конторкой появляется возбужденный оратор. В солдатской шинелишке и картузе.

– Дорогие товарищи! Тут мы слышали разные слова – «электрификация», «машинизация», «механизация» и тому подобное, и так далее. Что должны означать эти слова? Эти слова должны обозначать не что иное, товарищи, что нам нужны в деревне электричество и машины. (Голоса в публике: «Правильно!») Профессор говорит, что нам, мол, трактор не нужен. Что это обозначает, товарищи? Это означает, товарищи, что профессор наш спит. Он нас на старое хочет повернуть, а мы старого не хотим. Мы голые и босые победили наших врагов, а теперь, когда мы хотим строить, нам говорят ученые – не надо? Ковыряй, стало быть, землю лопатой? Не будет этого, товарищи («Браво! Правильно»).

Появляются сапоги-бутылки из Смоленской губернии и сладким тенором спрашивают, какой может быть трактор, когда шпагат стоит 14 рублей золотом?

Профессор в складной речи говорит, что он ничего... Что он только против фантазий, взывает к учету, к благоразумию, строгому расчету, требует заграничного кредита и в конце концов начинает говорить стихами.

Появляется куцая куртка и советует профессору, ежели ему не нравится в России, которая желает иметь тракторы, удалиться в какое-нибудь другое место, например в Париж.

После этого расстроенный профессор накрывается панамой с цветной лентой и со словами:

– Не понимаю, почему меня называют мракобесом? – удаляется в тьму.

Оратор из Наркомзема разбивает положения профессора, ссылается на канадских эмигрантов и зовет к электрификации, к трактору, к машине.

Прения прекращаются.

И в заключительном слове председатель страстно говорит о фантазерах и утверждает, что народ, претворивший не одну уже фантазию в действительность в последние пять изумительных лет, не остановится перед последней фантазией о машине. И добьется.

– А он не фантазер?

И рукой невольно указывает туда, где в сумеречном цветнике на щите стоит огромный Ленин.

* * *

Кончен диспут. Валит все гуще народ в театр. А на сцене, став полукругом, десять клинобородых владимирских рожечников высвистывают на длинных деревянных самодельных дудках старинные русские песни. То стонут, то заливаются дудки, и невольно встают перед глазами туманные поля, избы с лучинами, тихие заводи, сосновые суровые леса. И на душе не то печаль от этих дудок, не то какая-то неясная надежда. Обрывают дудки, обрывается мечта. И ясно гудит в последний раз гидроплан, садясь на реку, и гроздьями, букетами горят огни, и машут крыльями рекламы. Слышен из Нескучного медный марш.

Часы жизни и смерти

С природы

В Доме Союзов, в Колонном зале – гроб с телом Ильича. Круглые сутки – день и ночь – на площади огромные толпы людей, которые, строясь в ряды, бесконечными лентами, теряющимися в соседних улицах и переулках, вливаются в Колонный зал.

Это рабочая Москва идет поклониться праху великого Ильича.

Стрела на огненных часах дрогнула и стала на пяти. Потом неуклонно пошла дальше, потому что часы никогда не останавливаются. Как всегда, с пяти начали садиться на Москву сумерки. Мороз лютый. На площадь к белому дому стал входить эскадрон.

– Эй, эгей, со стрелки, со стрелки!

Стрелочник вертелся на перекрестке со своей вечной штангой в руках, в боярской шубе, с серебряными усами. Трамваи со скрежетом ломились в толпу. Машины зажгли фонари и выли.

– Эй, берегись!!

Эскадрон вошел с хрустом. Шлемы были наглухо застегнуты, а лошади одеты инеем. В морозном дыму завертелись огни, трамвайные стекла. На линии из земли родилась мгновенно черная очередь. Люди бежали, бежали в разные концы, но увидели всадников, поняли, что сейчас пустят. Раз, два, три... сто, тысяча!..

– Со стрелки-то уйдите!

– Трамвай!! Берегись! Машина стрелой – берегись!

– К порядочку, товарищи, к порядочку. Эй, куда?

– Братики, Христа ради, поставьте в очередь проститься. Проститься!

– Опоздала, тетка. Тет-ка! Ку-да-а?

– В очередь! В очередь!

– Батюшки, по Дмитровке-то хвост ушел!

– Куда ж деться-то мне, головушке горькой? Сквозь землю, што ль, провалиться?

Запрыгал салоп, заметался, а кони милицейские гигантские так и лезут. Куда ж бедной бабе деваться. Провались, баба... Кепи красные, кони танцуют. Змеей, тысячей звеньев идет хвост к Параскеве Пятнице, молчит, но идет, идет! Ах, быстро попадем!

– Голубчики, никого не пуцайте без очереди!

– Порядочек, граждане.

– Все помер...

– Думай мозгом, что говоришь. Ты помер, скажем, к примеру, какая разница. Какая разница, ответь мне, гражданин?

– Не обижайте!

– Не обижаю, а внушить хочу. Помер великий человек, поэтому помолчи. Помолчи минутку, сообрази в голове происшедшее.

– Куды?! Эгей-й!! Эй! Эй!

– Рота, стой!!

Ближе, ближе, ближе... Хруст, хруст. Стоп. Хруст... Хруст... Стоп... Двери. Голубчики родные, река течет!

– По три в ряд, товарищи.

– Вверх! Вверх!

– Огней, огней-то!

Караулы каменные вдоль стен. Стены белые, на стенах огни кустами. Родилась на стрелке Охотного река и течет, попирая красный ковер.

– Тише ты. Тш...

Шапки сняли, идут? Нет, не идут, не идут. Это не идут, братишки, а плывет река в миллион.

На ковре ложится снег.

И в море белого света протекает река.

* * *

Лежит в гробу на красном постаменте человек. Он желт восковой желтизной, а бугры лба его лысой головы круты. Он молчит, но лицо его мудро, важно и спокойно. Он мертвый. Серый пиджак на нем, на сером красное пятно – орден Знамени. Знамена на стенах белого зала в шапку – черные, красные, черные, красные. Гигантский орден – сияющая розетка в кустах огня, а в середине ее лежит на постаменте обреченный смертью на вечное молчание человек.

Как словом своим на слова и дела подвинул бессмертные шлемы караулов, так теперь убил своим молчанием караулы и реку идущих на последнее прощание людей.

Молчит караул, приставив винтовки к ноге, и молча течет река.

Все ясно. К этому гробу будут ходить четыре дня по лютому морозу в Москве, а потом в течение веков по дальним караванным дорогам желтых пустынь земного шара, там, где некогда, еще при рождении человечества, над его колыбелью ходила бессменная звезда.

* * *

Уходит, уходит река. Белые залы, красный ковер, огни. Стоят красноармейцы, смотрят сурово.

– Лиза, не плачь. Не плачь... Лиза...

– Воды, воды дайте ей!

– Санитара пропустите, товарищи!

Мороз. Мороз. Накройтесь, накройтесь, братишки. На дворе лютый мороз.

– Батюшки? Откуда же зайтить-то?!

– Нельзя здесь!

– Порядочек, граждане!

– Только выход. Только выход.

– Товарищ дорогой, да ведь миллион стоит на Дмитровке! Не дождусь я, замерзну. Пустите? А?

– Не могу – очередь!

Огни из машины на ходу бьют взрывами. Ударят в лицо – погаснет.

– Эй! Эгей! Берегись! Берегись! Машина раздавит. Берегись!

Горят огненные часы.

Москва 20-х годов

Вступление

Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921–1924 годов. О, нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался во все почти шестые этажи, в каких только помещались учреждения, а так как не было положительно ни одного шестого этажа, в котором бы не было учреждения, то этажи знакомы мне все решительно. Едешь, например, на извозчике по Златоуспенскому переулку в гости к Юрию Николаевичу и вспоминаешь:

– Ишь, домина! Позвольте, да ведь я в нем был. Был, честное слово! И даже припомню, когда именно. В январе 1922 года. И какого черта меня носило сюда? Извольте. Это было, когда я поступил в частную торгово-промышленную газету и просил у редактора аванс. Аванса мне редактор не дал, а сказал: «Идите в Златоуспенский переулок, в шестой этаж, комната № ...» позвольте, 242? а может, и 180?.. Забыл. Не важно... Одним словом: «Идите и получите объявление в Главхиме»... или в Центрохиме? Забыл. Ну, не важно... «Получите объявление, я вам 25 %». Если бы теперь мне кто-нибудь сказал: «Идите, объявление получите», – я бы ответил: «Не пойду». Не желаю ходить за объявлениями. Мне не нравится ходить за объявлениями. Это не моя специальность. А тогда... О, тогда было другое. Я покорно накрылся шапкой, взял эту дурацкую книжку объявлений и пошел, как лунатик. Был совершенно невероятный, какого никогда даже не бывает, мороз. Я влез на шестой этаж, нашел комнату № 200, в ней нашел рыжего лысого человека, который, выслушав меня, не дал мне объявления.

Кстати, о шестых этажах. Позвольте, кажется, в этом доме есть лифты? Есть. Есть. Но тогда, в 1922 году, в лифтах могли ездить только лица с пороком сердца. Это во-первых. А во-вторых, лифты не действовали. Так что и лица с удостоверением о том, что у них есть порок, и лица с непорочными сердцами (я в том числе) одинаково поднимались пешком в шестой этаж.

Теперь другое дело. О, теперь совсем другое дело! На Патриарших прудах, у своих знакомых, я был совсем недавно. Благодушно поднимаясь на своих ногах в шестой этаж, футах в 100 над уровнем моря, в пролете между 4-м и 5-м этажами, в сетчатой трубе, я увидел висящий, весело освещенный и совершенно неподвижный лифт. Из него доносился женский плач и бубнящий мужской бас:

– Расстрелять их надо, мерзавцев!

На лестнице стоял человек швейцарского вида, с ним рядом другой в замасленных штанах, по-видимому механик, и какие-то любопытные бабы из 16-й квартиры.

– Экая оказия, – говорил механик и ошеломленно улыбался.

Когда ночью я возвращался из гостей, лифт висел там же, но был темный, и никаких голосов из него не слышалось. Вероятно, двое несчастных, провисев недели две, умерли с голоду.

Бог знает, существует ли сейчас этот Центро- или Главхим, или его уже нет! Может быть, там какой-нибудь Химтрест, может быть, еще что-нибудь. Возможно, что давно нет ни этого Хима, ни рыжего лысого, а комнаты уже сданы и как раз на том месте, где стоял стол с чернильницей, теперь стоит пианино или мягкий диван и сидит на месте химического человека обаятельная барышня с волосами, выкрашенными перекисью водорода, читает «Тарзана». Все возможно. Одно лишь хорошо, что больше туда я не полезу ни пешком, ни в лифте!

Да, многое изменилось на моих глазах.

Где я только не был! На Мясницкой сотни раз, на Варварке – в Деловом Дворе, на Старой Площади – в Центросоюзе, заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье Поле. Меня гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание – найти себе пропитание. И я

его находил, правда, скудное, неверное, зыбкое. Находил его на самых фантастических и скоротечных, как чахотка, должностях, добывал его странными, утлыми способами, многие из которых теперь, когда мне полегчало, кажутся уже мне смешными. Я писал торгово-промышленную хронику в газетку, а по ночам сочинял веселые фельетоны, которые мне самому казались не смешнее зубной боли, подавал прошение в Льнотрест, а однажды ночью, остервенившись от постного масла, картошки, дырявых ботинок, сочинил ослепительный проект световой торговой рекламы. Что проект этот был хороший, показывает уже то, что, когда я привез его на просмотр моему приятелю, инженеру, тот обнял меня, поцеловал и сказал, что я напрасно не пошел по инженерной части: оказывается, своим умом я дошел как раз до той самой конструкции, которая уже светится на Театральной площади. Что это доказывает? Это доказывает только то, что человек, борющийся за свое существование, способен на блестящие поступки.

Но довольно. Читателю, конечно, не интересно, как я нырял в Москве, и рассказываю я все это с единственной целью, чтобы он поверил мне, что Москву 20-х годов я знаю досконально. Я обшарил ее вдоль и поперек. И намерен ее описать. Но, описывая ее, я желаю, чтобы мне верили. Если я говорю, что это так, значит, оно действительно так!

На будущее время, когда в Москву начнут приезжать знатные иностранцы, у меня есть в запасе должность гида.

I

Вопрос о жилище

...Эй, квартиру!!

(2-й акт «Севильского цирюльника»)

Условимся раз навсегда: жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому: без жилища человек существовать не может. Теперь, в дополнение к этому, сообщаю всем, проживающим в Берлине, Париже, Лондоне и прочих местах, – квартир в Москве нету.

Как же там живут?

А вот так-с и живут.

Без квартир.

* * *

Но этого мало – последние три года в Москве убедили меня, и совершенно определенно, в том, что москвичи утратили и самое понятие слова «квартира» и словом этим наивно называют что попало. Так, например: недавно один из моих знакомых журналистов на моих глазах получил бумажку: «Предоставить товарищу такому-то квартиру в доме № 7 (там, где типография)». Подпись и круглая жирная печать.

Товарищу такому-то квартира была предоставлена, и у товарища такого-то я вечером побывал. На лестнице без перил были разлиты щи, и поперек лестницы висел обрезанный, толстый, как уж, кабель. В верхнем этаже, пройдя по слою битого стекла, мимо окон, половина из которых была забрана досками, я попал в тупое и темное пространство и в нем начал кричать. На крик ответила полоса света, и, войдя куда-то, я нашел своего приятеля. Куда я вошел? Черт меня знает. Было что-то темное, как шахта, разделенное фанерными перегородками на пять отделений, представляющих собою большие продолговатые картонки для шляп. В средней картонке сидел приятель на кровати, рядом с приятелем его жена, а рядом с женой брат

приятеля, и означенный брат, не вставая с постели, а лишь протянув руку, на противоположной стене углем рисовал портрет жены. Жена читала «Тарзана».

Эти трое жили в трубке телефона. Представьте себе, вы, живущие в Берлине, как бы вы себя чувствовали, если б вас поселили в трубке. Шепот, звук упавшей на пол спички был слышен через все картонки, а ихняя была средняя.

– Маня! (Из крайней картонки.)

– Ну? (Из противоположной крайней.)

– У тебя есть сахар? (Из крайней.)

– В Люстгартене, в центре Берлина, собралась многотысячная демонстрация рабочих с красными знаменами... (Из соседней правой.)

– Конфеты есть... (Из противоположной крайней.)

– Свинья ты! (Из соседней левой.)

– В половину восьмого вместе пойдем!

– Вытри ты ему нос, пожалуйста...

Через десять минут начался кошмар: я перестал понимать, что я говорю, а что не я, и мой слух улавливал посторонние вещи. Китайцы, специалисты по части пыток, – просто щенки. Такой штуки им ни в жизнь не изобрести!

– Как же вы сюда попали?.. Го-го-го!.. Советская делегация в сопровождении советской колонии отправилась на могилу Карла Маркса... Ну?! Вот тебе и ну! Благодарю вас, япил... С конфетами?! Ну их к чертям!.. Свинья, свинья, свинья! Выбрось его вон! А вы где?.. В Киото и Иокогаме... Не ври, не ври, скотина, я давно уже вижу!.. Как, уборной нету?!!

Боже ты мой! Я ушел, не медля ни секунды, а они остались. Я прожил четверть часа в этой картонке, а они живут 7 (семь) месяцев.

Да, дорогие граждане, когда я явился к себе домой, я впервые почувствовал, что все на свете относительно и условно. Мне померещилось, что я живу во дворце и у каждой двери стоит напудренный лакей в красной ливрее и царит мертвая тишина. Тишина – это великая вещь, дар богов, и рай – это есть тишина. А между тем дверь у меня всего одна (равно как и комната), и выходит эта дверь непосредственно в коридор, а наискось живет знаменитый Василий Иванович со своею знаменитой женой.

* * *

Клянусь всем, что у меня есть святого, каждый раз, как я сажусь писать о Москве, проклятый образ Василия Ивановича стоит передо мною в углу. Кошмар в пиджаке и полосатых подштанниках заслонил мне солнце! Я упираюсь лбом в каменную стену, и Василий Иванович надо мной, как крышка гроба.

Поймите все, что этот человек может сделать невозможной жизнь в любой квартире, и он ее сделал невозможной. Все поступки В. И. направлены в ущерб его ближним, и в кодексе Республики нет ни одного параграфа, которого он бы не нарушил. Нехорошо ругаться матерными словами громко? Нехорошо. А он ругается. Нехорошо пить самогон? Нехорошо. А он пьет. Буйствовать разрешается? Нет, никому не разрешается. А он буйствует. И т. д. Очень жаль, что в кодексе нет пункта, запрещающего игру на гармонике в квартире. Вниманию советских юристов: умоляю ввести его! Вот он играл. Говорю – играл, потому что теперь не играет. Может быть, угрызения совести остановили этого человека? О, нет, чудачки из Берлина: он ее пропил.

Словом, он немислим в человеческом обществе, и простить его я не могу, даже принимая во внимание его происхождение. Даже наоборот: именно принимая во внимание, простить не могу. Я рассуждаю так: он должен показывать мне, человеку происхождения сомнительного, пример поведения, а никак не я ему. И пусть кто-нибудь докажет мне, что я не прав.

* * *

И вот третий год я живу в квартире с Василием Ивановичем, и сколько еще проживу – неизвестно. Возможно, и до конца моей жизни, но теперь, после визита в картонку, мне стало легче. Не нужно особенно замахиваться, граждане!

Да, мне стало легче. Я стал терпеливее и к людям участливее.

Доктор Г., мой друг, явился ко мне на прошлой неделе с воплем:

– Зачем я не женился?!

В устах его, первого и признанного женофоба в Москве, такая фраза заслуживала внимания.

Оказалось: домовое управление его уплотнило. Поставило перегородку в его комнате и за перегородкой поселило супружескую пару. Тщетно доктор барахтался и выл. Ничего не вышло. Председатель твердил одно:

– Вот ежели бы вы были женатый, тогда другое дело...

А третьего дня доктор явился и сказал:

– Ну, слава богу, что я не женился... Ты с женой ссоришься?

– Гм... иногда... как сказать... – ответил я уклончиво и вежливо, поглядывая на жену, – вообще говоря... бывает иногда... видишь ли...

– А кто виноват бывает? – быстро спросила жена.

– Я, я виноват, – поспешил уверить я.

– Кошмар. Кошмар. Кошмар, – заговорил доктор, глотая чай, – кошмар. Каждый вечер, понимаешь ли, раздается одно и то же: «Ты где был?» – «На Николаевском вокзале». – «Врешь». – «Ей-богу...» – «Врешь». Через минуту опять: «Ты где был?» – «На Нико...» – «Врешь». Через полчаса: «Где ты был?» – «У Ани был». – «Врешь!!»

– Бедная женщина, – сказала жена.

– Нет, это я бедный, – отозвался доктор, – и я уезжаю в Орехово-Зуево. Черт ее бери!

– Кого? – спросила жена подозрительно.

– Эту... клинику...

* * *

Он в Орехово-Зуево, а знакомая Л. Е. в Италии. Увы, ей нет места даже за перегородкой. И прекраснейшая женщина, которая могла бы украсить Москву, стремится в паршивый какой-то Рим.

И Василий Иванович останется, а она уедет!

А Наталья Егоровна бросила этой зимой мочалку на пол, а отодрать ее не могла, потому что над столом девять градусов, а на полу совсем нет градусов и даже одного не хватает. Минус один. И всю зиму играла вальсы Шопена в валенках, а Петр Сергеич нанял прислугу и через неделю ее рассчитал, а прислуга никуда не ушла! Потому что пришел председатель правления и сказал, что она (прислуга) – член жилищного товарищества и занимает площадь и никто ее не имеет права тронуть. Петр Сергеевич, совершенно ошалевший, мечется теперь по всей Москве и спрашивает у всех, что ему теперь делать? А делать ему ровно нечего. У прислуги в сундуке карточка бравого красноармейца, бравшего Перекоп, и карточка жилищного товарищества. Крышка Петру Сергеичу!

А некий молодой человек, у которого в «квартире» поселили божью старушку, однажды в воскресенье, когда старушка вернулась от обедни, встретил ее словами:

– Надоела ты мне, божья старушка.

И при этом стукнул старушку безменом по голове. И таких случаев или случаев подобных я знаю за последнее время целых четыре. Осуждаю ли я молодого человека? Нет. Категорически – нет. Ибо прекрасно чувствую, что посели ко мне в комнату старушку или же второго Василия Ивановича, и я бы взялся за безмен, несмотря на то, что мне с детства дома прививали мысль, что безменом орудовать ни в коем случае не следует.

А Саша предлагал 20 червонцев, чтобы только убрали из его комнаты Анфису Марковну...

Впрочем, довольно.

* * *

Отчего же происходит такая странная и неприятная жизнь? Происходит она только от одного – от тесноты. Факт, в Москве тесно.

Что же делать?!

Сделать можно только одно: применить мой проект, и этот проект я изложу, предварительно написав еще главу «О хорошей жизни».

II

О хорошей жизни

Юрий Николаевич заложил ногу за ногу и, прожевывая кекс, спросил:

– Вот не совсем понимаю, почему вы, человек довольно благодушный, как только начинаете говорить о квартире, впадаете в ярость?

Я тоже сунул в рот кусок кекса (прекрасная вещь с чаем, но отнюдь не в 5 часов дня, когда человек приходит со службы и нуждается в борще, а не в чае с кексом. Вообще, московские граждане, бросим мы эти файф-о-клоки к чертям!) и ответил:

– Поэтому и впадаю в ярость, что я на этом вопросе собаку съел. Высокий специалист.

– Может быть, вы еще чаю хотите? – осторожно предложила хозяйка.

– Нет, благодарю вас, чаю не хочется. Сыт, – со вздохом ответил я, чувствуя какое-то странное томление. Обломки кекса плавали внутри меня в чайном море и вызывали чувство тоски.

– Вам хорошо говорить, – продолжал я, закуривая, – когда у вас прекрасная квартира в две комнаты.

Юрий Николаевич тотчас судорожно засмеялся, торопливо проглатывая изюм, и полез в карманы. В одном он ничего не нашел, в другом тоже. И в третьем. Тогда он кинулся к столу, нырнул в ящики, нырнул в какие-то груды – и там не нашел.

Вместо искомого нашел позапрошлый понедельничный номер «Накануне», полюбовался на него и сказал:

– Пропала куда-то. Ну, ладно.

С этими словами он стал на колени на пол и ухватился за ножки кресла в углу. Лохматый пес обрадовался суете, начал скакать и хватать его за штаны.

– Пошел вон! – закричал, краснея, Юрий Николаевич. Кресло отъехало в сторону, и в огромнейшей лохматой дыре, аршин в диаметре, оказался купол соседней церкви на голубом фоне неба.

– Однако.

– До ремонта ее не было, – пояснил счастливый обладатель двух комнат с дырой, – а вот сделали ремонт и дыру.

– Так ее же можно заделать.

– Нет уж, я ее заделывать не буду. Пусть тот, кто мне бумажку прислал, сам и заделывает. Он опять похлопал по карманам, но бумажки так и не нашел.

– Бумажку прислали, чтобы я вытряхнулся из этой квартиры.

– Куда?

– В бумажке написано: не касается.

Каюсь: на душе у меня полегчало. Не один, стало быть, я.

* * *

В самом деле: как это так «вытряхайтесь»?! Ведь месту пусту не быть? Юрий Николаевич вытряхнется, но ведь на его место «втряхнется» Сидор Степаныч? А Юрий Николаевич, оказавшись на панели, ведь тоже пожелает войти под кров? А если под этим кровом сидит уже Федосей Гаврилович? Стало быть, Федосей Гаврилычу вытряхательную бумажку? Федосей на место Ивана, Иван на место Ферапонта, Ферапонт на место Панкратия...

Нет, граждане, это чепуха какая-то получается!

* * *

В лето от Рождества Христова... (в соседней комнате слышен комсомольский голос: «Не было его!!»), ну, было или не было, одним словом, в 1921 году, въехав в Москву, и в следующие года, 1922 и 1923-й, страдал я, граждане, завистью в острой форме. Я, граждане, человек замечательный, скажу это без ложной скромности. Трудкнижку в три дня добыл, всего лишь три раза по 6 часов в очереди стоял, а не по 6 месяцев, как всякие растяпы. На службу пять раз поступал, словом, все преодолел, а квартирку, простите, осилить не мог. Ни в три комнаты, ни в две и даже ни в одну. И как сел в знаменитом соседстве с Василием Ивановичем, так и застрял.

(Голос Юрия Николаевича за сценой: – Да у вас отличная комната!!)

Хор греческой трагедии. Бескомнатные:

– Эт-то возмутительно!!!

Ладно, не будем спорить. Факт тот, что бывают лучше.

Итак, застрял. Тьма событий произошла в это время в подлунном мире, и одним из них, по поводу которого я искренно ликовал, была посадка на скамью подсудимых всего этого, как он, бишь, назывался?.. Центрожил... ну, одним словом, те, что в 21–22-м гг. комнаты раздавали по ордерам. По сколько лет им дали, не помню, но жалею, что не вдвое больше. После этого и вовсе их, как он?.. «жил» этот, кажется, упразднили. И уже появились в «Известиях» объявления «Ищу... Ищу... Ищу...», а я так и сижу.

Сидел и терзался завистью. Ибо видел неравномерное распределение благ квартирных.

* * *

Не угодно ли, например. Ведь Зина чудно устроилась. Каким-то образом в гуще Москвы не квартирка, а бонбоньерка в три комнаты. Ванна, телефончик, муж. Манюшка готовит котлеты на газовой плите, и у Манюшки еще отдельная комнатка. С ножом к горлу приставал я к Зине, требуя объяснений, каким образом могли уцелеть эти комнаты.

Ведь это же сверхъестественно!!

Четыре комнаты – три человека. И никого посторонних.

И Зина рассказала, что однажды на грузовике приехал какой-то и привез бумажку «вытряхайтесь!!».

А она взяла и... не вытряхнулась.

Ах, Зина, Зина! Не будь ты уже замужем, я бы женился на тебе. Женился бы, как бог свят, и женился бы за телефончик и за винты газовой плиты, и никакими силами меня не выдрали бы из квартиры.

Зина, ты орел, а не женщина!

Эпоха грузовиков кончилась, как кончается все на этом свете. Сиди, Зинуша.

* * *

Николай Иванович отыгрался на двух племянницах. Написал в провинцию, и прибыли две племянницы. Одна из них ввинтилась в какой-то ВУЗ, доказав по всем швам свое пролетарское происхождение, а другая поступила в студию. Умен ли Николай Иванович, повесивший себе на шею двух племянниц в столь трудное время?

Не умен-с, а гениален.

Шесть комнат остались у Николая Иваныча. Приходили и с портфелями, и без портфелей и ушли ни с чем. Квартира битком была набита племянницами. В каждой комнате стояла кровать, а в гостиной две.

* * *

На днях прославился Яша. Яша никаких племянниц не выписывал. Яша ухитрился в 5 (пяти) комнатах просидеть один, наклеив на дверь полусгнивший от времени (с 1918 года, кажется) ордер, из которого явствовало, что у означенного Яши студия.

Яша – ты гений!

* * *

А Паша...

Довольно!

* * *

С течением времени я стал классифицировать. И классификация моя проста, как не знаю что.

Два сорта, живущих хорошей жизнью:

1. Имели и сумели сохранить (Зина, Николай Иваныч, Яша, Паша и др...).
2. Ничего не имели, приехали и получили.

Пример: приезжает из Баку Нарцисс Иоаннович, немедленно становится председателем треста, получает две комнаты (газовая плита и т. д.) в казенном доме. Затем неизменно идут неприятности на сердце от трэфовой дамы, засим неприятности в казенном доме, засим дальняя дорога и в заключительном аккорде бубновый туз (десять, по амнистии – два, в общем восемь). На место Нарцисса садится Сокиз. На место Сокиза – Абрам, на Абрамово место – Федор...

Довольно...

Проект

Так же, конечно, немислимо! В воздухе много проектов: в числе их бумажки о выезде в 2-х такой-то срок, хитрые планы о том, как Федула потеснить, а Валентина переселить, а Василия выселить.

Все это не то.

Действителен лишь мой проект:

Москву надо отстраивать.

Когда в Москве на окнах появятся белые билетки со словами: «Сдаеця», – все придет в норму.

Жизнь перестанет казаться какой-то колдовской маетой – у одних на сундуке в передней, у других в 6 комнатах в обществе неожиданных племянниц.

Экстаз

Москва! Я вижу тебя в небоскребах!

Путешествие по Крыму

*Хвала тебе, Ай-Петри великан,
В одежде царственной из сосен!
Взошел сегодня на твой мощный стан
Штабс-капитан в отставке Просин!*

Из какого-то рассказа

Неврастения вместо предисловия

Улицы начинают казаться слишком пыльными. В трамвае сесть нельзя – почему так мало трамваев? Целый день мучительно хочется пива, а когда доберешься до него, в небо вонзается воблина кость и, оказывается, пиво никому не нужно. Теплое, в голове встает болотный туман, и хочется не моченого гороху, а ехать под Москву в Покровское-Стрешнево.

Но на Страстной площади, как волки, воют наглцы с букетами, похожими на конские хвосты.

На службе придираются: секретарь – примазавшаяся личность в треснувшем пенсне – невыносим. Нельзя же в течение двух лет без отдыха созерцать секретарский лик!

Сослуживцы, людишки себе на уме, явные мещане, несмотря на портреты вождей в петлицах.

Домоуправление начинает какие-то асфальтовые фокусы, и мало того, что разворотило весь двор, но еще на это требует денег. На общие собрания идти не хочется, а в «Аквариуме» какой-то дьявол в светлых трусиках ходил по проволоке, и юродство его раздражает до невралгии.

Словом, когда человек в Москве начинает лезть на стену, значит, он доспел, и ему, кто бы он ни был – бухгалтер ли, журналист или рабочий, – ему надо ехать в Крым.

В какое именно место Крыма?

Коктебельская загадка

– Естественно, в Коктебель, – не задумываясь, ответил приятель. – Воздух там, солнце, горы, море, пляж, камни. Карадаг, красота!

В эту ночь мне приснился Коктебель, а моя мансарда на Пречистенке показалась мне душной, полной жирных, несколько в изумруд отливающих мух.

– Я еду в Коктебель, – сказал я второму приятелю.

– Я знаю, что вы человек недалекий, – ответил тот, закуривая мою папиросу.

– Объяснитесь?

– Нечего и объясняться. От ветру сдохнете.

– Какого ветру?

– Весь июль и август дует, как в форточку. Зунд.

Ушел я от него.

– Я в Коктебель хочу ехать, – неуверенно сказал я третьему и прибавил: – Только прошу меня не оскорблять, я этого не позволю.

Посмотрел он удивленно и ответил так:

– Счастливцев! Море, воздух, солнце...

– Знаю. Только вот ветер – зунд.
– Кто сказал?
– Катошихин.
– Да ведь он же дурак! Он дальше Малаховки от Москвы не отъезжал. Зунд – такого и ветра нет.

– Ну, хорошо.

Дама сказала:

– Дует, но только в августе. Июль – прелесть.

И сейчас же после нее сказал мужчина:

– Ветер в июне – это верно, а июль – август будете как в раю.

– А, черт вас всех возьми!

– Никого ты не слушай, – сказала моя жена, – ты издергался, тебе нужен отдых...

Я отправился на Кузнецкий мост и купил книжку в ядовито-синем переплете с золотым словом «Крым» за 1 руб. 50 коп.

Я – патентованный городской чудак, скептик и неврастеник – боялся ее читать. «Раз путеводитель, значит, будет хвалить».

Дома при опостылевшем свете рабочей лампы раскрыли мы книжечку и увидели на странице 370-й («Крым». Путеводитель. Под общей редакцией президиума Моск. физиотерапевтического общества и т. д. Изд. «Земли и Фабрики») буквально о Коктебеле такое:

«Причиной отсутствия зелени является «крымский сирокко», который часто в конце июля и августа начинает дуть неделями в долину, сушит растения, воздух насыщает мелкой пылью, до исступления доводит нервных больных... Беспрерывный ветер, не прекращавшийся в течение 3-х недель, до исступления доводил неврастеников. Нарушались в организме все функции, и больной чувствовал себя хуже, чем до приезда в Коктебель».

(В этом месте жена моя заплакала.)

«...Отсутствие воды – трагедия курорта, – читал я на стр. 370–371, – колодезная вода соленая, с резким запахом моря...»

– Перестань, детка, ты испортишь себе глаза...

«...К отрицательным сторонам Коктебеля приходится отнести отсутствие освещения, канализации, гостиниц, магазинов, неудобства сообщения, полное отсутствие медицинской помощи, отсутствие санитарного надзора и дороговизну жизни...»

– Довольно! – нервно сказала жена.

Дверь открылась.

– Вам письмо.

В письме было:

«Приезжай к нам в Коктебель. Великолепно. Начали купаться. Обед 70 коп.».

И мы поехали...

В Севастополь!

– Невозможно, – повторял я, и моя голова моталась, как у зарезанного, и стучалась о кузов. Я соображал, хватит ли мне денег? Шел дождь. Извозчик как будто на месте топтался, а Москва ехала назад. Уезжали пивные с красными раками во фраках на стеклах, и серые дома, и глазастые машины хрюкали в сетке дождя. Лежа в пролетке, коленями придерживая мюровскую покупку, я рукой сжимал тощий кошелек с деньгами, видел мысленно зеленое море, вспоминал, не забыл ли я запереть комнату...

* * *

«1-с» – великолепен. Висел совершенно молочный туман, у каждой двери стоял проводник с фонарем, был до прочтения плацкарты недоступен и величественен, по прочтении – предупредителен. В окнах было светло, а в вагоне-ресторане на белых скатертях – бутылки боржома и красного вина.

Коварно, после очень негромкого второго звонка, скорый снялся и вышел. Москва в пять минут завернулась в густейший черный плащ, ушла в землю и умолкла.

Над головой висел вентилятор-пропеллер. Официанты были сверхчеловечески вежливы, возбуждая даже дрожь в публике! Я пил пиво баварское и недоумевал, почему глухие шторы скрывают от меня подмосковную природу.

– Камнями швыряют, сукины сыны, – пояснил мне служащий, изгибаясь, как змея.

В жестком вагоне ложились спать. Я вступил в беседу с проводником, и он на сон грядущий рассказал мне о том, как крадут чемоданы. Я осведомился о том, какие места он считает наиболее опасными. Выяснилось – Тулу, Орел, Курск, Харьков. Я дал ему рубль за рассказ, рассчитывая впоследствии использовать его. Взамен рубля я получил от проводника мягкий тюфячок (пломбированное белье и тюфяк стоят три рубля). Мой мюровский чемодан с блестящими застежками выглядел слишком аппетитно.

«Его украдут в Орле», – думал я горько.

Мой сосед привязал чемодан веревкой к вешалке, я свой маленький саквояж положил рядом с собой и конец своего галстука прикрепил к его ручке. Ночью я, благодаря этому, видел страшный сон и чуть не удавился. Тула и Орел остались где-то позади меня, и очнулся я не то в Курске, не то в Белгороде. Я глянул в окно и расстроился. Непогода и холод тянулись за сотни верст от Москвы. Небо затягивало пушечным дымом, солнце старалось выбраться, и это ему не удавалось.

Летели поля, мы резали на юг, на юг опять шли из вагона в вагон, проходили через мудрую и блестящую международку, ели зеленые щи. Штор не было, никто камнями не швырял, временами сек дождь и косыми столбами уходил за поля.

Прошли от Москвы до Джанкоя 30 часов. Возле меня стоял чемодан от Мерелиза, а напротив стоял в непромокаемом пальто начальник станции Джанкоя с лицом, совершенно синим от холода. В Москве было много теплей.

Оказалось, что феодосийского поезда нужно ждать 7 часов. В зале первого класса за стойкой, иконописный, похожий на завоевателя Мамай, татарин поил бессонную пересадочную публику чаем. Малодушие по поводу холода исчезло, лишь только появилось солнце. Оно лезло из-за товарных вагонов и боролось с облаками. Акации торчали в окнах. Парикмахер обрил мне голову, пока я читал его таксу и объявление:

«Кредит портит отношения».

Затем джентльмен американской складки заговорил со мной и сказал, что в Коктебель ехать не советует, а лучше в тысячу раз в Отузах. Там – розы, вино, море, комнатка 20 руб. в месяц, а он там, в Отузах, председатель. Чего? Забыл. Не то чего-то кооперативного, не то потребительского. Одним словом, он и винодел.

Солнце тем временем вылезло, и я отправился осматривать Джанкой. Юркий мальчишка, после того как я с размаху сел в джанкойскую грязь, стал чистить мне башмаки. На мой вопрос, сколько ему нужно заплатить, лгливо ответил:

– Сколько хотите.

А когда я ему дал 30 коп., завыл на весь Джанкой, что я его ограбил. Сбежались какие-то женщины, и одна из них сказала мальчишке:

– Ты же мерзавец. Тебе же гривенник следует с проезжего.

И мне:

– Дайте ему по морде, гражданин.

– Откуда вы узнали, что я проезжий? – ошеломленно улыбаясь, спросил я и дал мальчишке еще 20 коп. (Он черный, как навозный жук, очень рассудительный, бойкий, лет 12, если попадете в Джанкой, бойтесь его.)

Женщина вместо ответа посмотрела на носки моих башмаков. Я ахнул. Негодяй их вымазал чем-то, что не слезает до сих пор. Одним словом, башмаки стали похожи на глиняные горшки.

Феодосийский поезд пришел, пришла гроза, потом стук колес, и мы на юг, на берег моря.

Коктебель, фернампиксы и «лягушки»

Представьте себе полукруглую бухту, врезанную с одной стороны между мрачным, нависшим над морем массивом, – это развороченный в незапамятные времена погасший вулкан Карадаг, – с другой – между желто-бурыми, сверху точно по линейке срезанными грядами, переходящими в мыс, – Прыжок козы.

В бухте – курорт Коктебель.

В нем замечательный пляж, один из лучших на крымской жемчужине: полоска песку, а у самого моря полоска мелких, облизанных морем разноцветных камней.

Прежде всего о них. Коктебель наполнен людьми, болеющими «каменной болезнью». Приезжает человек, и если он умный – снимает штаны, вытряхивает из них московско-тульскую дорожную пыль, вешает в шкаф, надевает короткие трусики, и вот он на берегу.

Если не умный – остается в длинных брюках, лишающих его ноги крымского воздуха, но все-таки он на берегу, черт его возьми!

Солнце порою жжет дико, ходит на берег волна с белыми венцами, и тело отходит, голова немного пьянеет после душных ущелий Москвы.

На закате новоприбывший является на дачу с чуть-чуть ошалевшими глазами и выгружает из кармана камни.

– Посмотрите-ка, что я нашел!

– Замечательно, – отвечают ему двухнедельные старожилы, в голосе их слышна подозрительно-фальшивая восторженность, – просто изумительно! Ты знаешь, когда этот камешек особенно красив?

– Когда? – спрашивает наивный москвич.

– Если его на закате бросить в воду, он необыкновенно красиво летит, ты попробуй!

Приезжий обижается. Но проходит несколько дней, и он начинает понимать. Под окном его комнаты лежат груды белые, серые и розоватые голыши, сам он их нашел, сам же и выбросил. Теперь он ищет уже настоящие обломки обточенного сердолика, прозрачные камни, камни в полосках и рисунках.

По пляжу слоняются фигуры: кожа у них на шее и руках лупится, физиономии коричневые. Сидят и роются, ползают на животе.

Не мешайте людям – они ищут фернампиксы! Этим загадочным словом местные коллекционеры окрестили красивые породистые камни. Кроме фернампиксов, попадаются «лягушки», прелестные миниатюрные камни, покрытые цветными глазками. Не брезгают любители и «пейзажными собаками». Так называются простые серые камни, но с каким-нибудь фантастическим рисунком. В одном и том же пейзаже на собаке может каждый, как в гамлетовском облике, увидеть все, что ему хочется.

– Вася, глянь-ка, что на собачке нарисовано!

– Ах, черт возьми, действительно, вылитый Мефистофель...

– Сам ты Мефистофель! Это Большой театр в Москве!

Те, кто камней не собирает, просто купаются, и купание в Коктебеле первоклассное. На раскаленном песке в теле рассасывается городская гниль, исчезает ломота и боли в коленях и пояснице, оживают ревматики и золотушные.

Только одно примечание: Коктебель не всем полезен, а иным и вреден. Сюда нельзя ездить людям с очень расстроенной нервной системой.

Я разьясняю Коктебель: ветер в нем дует не в мае или августе, как мне говорили, а дует он круглый год ежедневно, не бывает без ветра ничего, даже в жару. И ветер раздражает невзрастеников.

Коктебель из всех курортов Крыма наиболее простенький. Т. е. в нем сравнительно мало нэпманов, но все-таки они есть. На стене оставшегося от довоенного времени помещения, поэтического кафе «Бубны», ныне, к счастью, закрытого и наполовину обращенного в развалины, красовалась знаменитая надпись:

Нормальный дачник – друг природы.
Стыдитесь, голые уроды!

Нормальный дачник был изображен в твердой соломенной шляпе при галстукке, пиджаке и брюках с отворотами.

Эти друзья природы прибывают в Коктебель и ныне из Москвы, и точно в таком виде, как нарисовано на «Бубнах». С ними жены и свояченицы: губы тускло-малиновые, волосы завиты, бюстгальтер, кремовые чулки и лакированные туфли.

Отличительный признак этой категории: на закате, когда край моря одевается мглой и каждого тянет улететь куда-то ввысь или вдаль, и позже, когда от луны ложится на воду ломкий золотой столб и волна у берега шипит и качается, эти сидят на лавочках спиной к морю, лицом к кооперативу и едят черешни.

* * *

О голых уродах. Они-то самые умные и есть. Они становятся коричневыми, они понимают, что кожа в Крыму должна дышать, иначе не нужно и ездить. Нэпман ни за что не разделется. Хоть его озолоти, он не расстанется с брюками и пиджаком. В брюках часы и кошелек, а в пиджаке бумажник. Ходят раздетыми, в трусиках, комсомольцы, члены профсоюзов из тех, что попали на отдых в Крым, и наиболее смышленные дачники.

Они пользуются не только морем, они влезают на скалы Карадага, и раз, проходя на парусной шлюпке под скалистыми отвесами, мимо страшных и темных гротов, на громадной высоте на козьих тропах, таких, что если смотреть вверх, немного холодеет в животе, я видел белые пятна рубашек и красненькие головные повязки. Как они туда забрались?

Некогда в Коктебеле, еще в довоенное время, застрял какой-то бездомный студент. Есть ему было нечего. Его заметил содержатель единственной тогда, а ныне и вовсе бывшей гостиницы Коктебеля и заказал ему брошюру рекламного характера.

Три месяца сидел на полном пансионе студент, прославляя судьбу, растолстел и написал акафист Коктебелю, наполнив его перлами красноречия, не уступающими фернампиксам.

«...и дамы, привыкшие в других местах к другим манерам, долго бродят по песку в фиговых костюмах, стыдливо поднимая подола...»

Никаких подолов никто стыдливо не поднимает. В жаркие дни лежат обожженные и обветренные мужские и женские голые тела.

«Качает»

Пароход «Игнат Сергеев», однотрубный, двухклассный (только второй и третий класс), пришел в Феодосию в самую жару – в два часа дня. Он долго выл у пристани морAGENTства. Цепи ржаво драли уши, и вертелись в воздухе на крюках громаднейшие клубы прессованного сена, которые матросы грузили в трюм.

Гомон стоял на пристани. Мальчишки-носильщики грохотали своими тележками, тащили сундуки и корзины. Народу ехало много, и все койки второго класса были заняты еще от Батума. Касса продавала второй класс без коек, на диваны кают-компаний, где есть пианино и фисгармония.

Именно туда я взял билет, и именно этого делать не следовало, а почему – об этом ниже.

«Игнат», постояв около часа, выбросил таблицу «отход в 5 ч. 20 мин.» и вышел в 6 ч. 30 мин. Произошло это на закате. Феодосия стала отплывать назад и развернулась всей своей белизной. В иллюминаторе подул свежестью...

Буфетчик со своим подручным (к слову: наглые, невежливые и почему-то оба пьяные) раскинули на столах скатерти, по скатертям раскидали тарелки, такие тяжелые и толстые, что их ни обо что нельзя расколотить, и подали кому бифштекс в виде подметки с салным картофелем, кому половину костлявого цыпленка, бутылки пива. В это время «Игнат» уже лез в открытое море.

Лучший момент для бифштекса с пивом трудно выбрать. Корму (а кают-компания на корме) стало медленно, плавно и мягко поднимать, затем медленно и еще более плавно опускать куда-то очень глубоко.

Первым взяло гражданина соседа. Он остановился над своим бифштексом на полдороге, когда на тарелке лежал еще порядочный кусок. И видно было, что бифштекс ему разонравился. Затем его лицо из румяного превратилось в прозрачно-зеленое, покрытое мелким потом.

Нежным голосом он произнес:

– Дайте нарзану...

Буфетчик с равнодушно-наглыми глазами брякнул перед ним бутылку. Но гражданин пить не стал, а поднялся и начал уходить. Его косо понесло по ковровой дорожке.

– Качает! – весело сказал чей-то тенор в коридоре.

Благообразная нянька, укачивавшая ребенка в Феодосии, превратилась в море в старуху с серым лицом, а ребенка вдруг плюхнула, как куль, на диван.

Мерно... вверх... подпирает грудобрюшную преграду... вниз...

«Черт меня дернул спрашивать бифштекс...»

Кают-компания опустела. В коридоре, где грудой до стеклянного потолка лежали чемоданы, синеющая дама на мягком диванчике говорила сквозь зубы своей спутнице:

– Ох... Говорила я, что нужно поездом в Симферополь...

«И на какого черта я брал билет второго класса, все равно на палубе придется сидеть». Весь мир был полон запахом бифштекса, и тот ощутительно ворочался в желудке. Организм требовал третьего класса, т. е. палубы.

Там уже был полный разгар. Старуха армянка со стоном ползла по полу к борту. Три гражданина и очень много гражданок висели на перилах, как пустые костюмы, головы их мотались.

Помощник капитана, розовый, упитанный и свежий, как огурчик, шел в синей форме и белых туфлях вдоль борта и всех утешал:

– Ничего, ничего... Дань морю.

Волна шла (издали, из Феодосии, море казалось ровненьким, с маленькой рябью) мощная, крупная, черная, величиной с хорошую футбольную площадку, порой с растрепанным

седоватым гребнем, медленно переваливалась, подкатывалась под «Игната», и нос его лез... ле-ез... ох... вверх... вниз.

Садился вечер. Мимо плыл Карадаг. Сердитый и чернеющий в тумане, и где-то за ним растворялся во мгле плоский Коктебель. Прощай. Прощай.

Пробовал смотреть в небо – плохо. На горы – еще хуже. О волне – нечего и говорить...

Когда я отошел от борта, резко полегчало. Я тотчас лег на палубу и стал засыпать... Горы еще мерещились в сизом дыму.

Ялта

Но до чего же она хороша!

Ночью, близ самого рассвета, в черноте один дрожащий огонь превращается в два, в три, а три огня – в семь, но уже не огней, а драгоценных камней...

В кают-компании дают полный свет.

– Ялта.

Вон она мерцает уже многоярусно в иллюминаторе.

Еще легчает, еще. Огни в иллюминаторе пропадают. Мы у подножки их. Начинается суета, тени на диване оживают, появляются чемоданы. Вдруг утихает мерное ворчание в утробе «Игната», слышен грохот цепей. И сразу же качает.

Конечно – Ялта!

Ялта и хороша, Ялта и отвратительна, и эти свойства в ней постоянно перемешиваются. Сразу же надо зверски торговаться. Ялта – город-курорт: на приезжих, т. е., я хочу сказать, прибывающих одиночным порядком, смотрят как на доходный улов.

По спящей, еще черной с ночи набережной носильщик привел куда-то, что показалось похожим на дворцовые террасы. Смутно белеет камень, парапеты, кипарисы, купы подстриженной зелени, луна догорает над волнорезом сзади, а впереди дворец, – черт возьми!

Наверное, привел в самую дорогую гостиницу.

Так и оказалось: конечно, самая дорогая. Номера в два рубля «все заняты». Есть в три рубля.

– А почему электричество не горит?

– Курорт-с!

– Ну ладно, все равно.

В окнах гостиницы ярусами Ялта. Светлеет. По горам цепляются облака и льется воздух. Нигде и никогда таким воздухом, как в Ялте, не дышал. Не может не поправиться человек на таком воздухе. Он сладкий, холодный, пахнет цветами, если глубже вздохнуть – ощущаешь, как он входит струей. Нет лучше воздуха, чем в Ялте!

* * *

Наутро Ялта встала, умытая дождем. На набережной суета больше, чем на Тверской: магазинчики налеплены один рядом с другим, все это настезь, все громоздится и кричит, завалено татарскими тубетейками, персиками и черешнями, мундштуками и сетчатым бельем, футбольными мячами и винными бутылками, духами и подтяжками, пирожными. Торгуют греки, татары, русские, евреи. Все втридорога, все «по-курортному», и на все спрос. Мимо блестящих витрин непрерывным потоком белые брюки, белые юбки, желтые башмаки, ноги в чулках и без чулок, в белых туфельках.

Морская часть

Хуже, чем купание в Ялте, ничего не может быть, т. е. я говорю о купании в самой Ялте, у набережной.

Представьте себе развороченную, крупнобулыжную московскую мостовую. Это пляж. Само собой понятно, что он покрыт обрывками газетной бумаги. Но менее понятно, что во имя курортного целомудрия (черт бы его взял, и кому это нужно!) наклеены деревянные, вымазанные жиденькой краской загородки, которые ничего ни от кого не скрывают, и, понятное дело, нет вершка, куда можно было бы плюнуть, не попав в чужие брюки или голый живот. А плюнуть очень надо, в особенности туберкулезному, а туберкулезных в Ялте не занимать. Поэтому пляж в Ялте и заплеван.

Само собою разумеется, что при входе на пляж сколочена скворечница с кассовой дырой, и в этой скворечнице сидит унылое существо женского пола и цепко отбирает гривенники с одиночных граждан и пятаки с членов профессионального союза.

Диалог в скворечной дыре после купания:

– Скажите, пожалуйста, вы вот тут собираете пятаки, а вам известно, что на вашем пляже купаться невозможно совершенно?..

– Хи-хи-хи.

– Нет, вы не хихикайте. Ведь у вас же пляж заплеван, а в Ялту ездят туберкулезные.

– Что же мы можем поделать!

– Плевательницы поставить, надписи на столбах повесить, сторожа на пляж пустить, который бы бумажки убирал.

В Ливадии

И вот в Ялте вечер. Иду все выше, выше по укатанным узким улицам и смотрю. И с каждым шагом вверх все больше разворачивается море, и на нем, как игрушка с косым парусом, застыла шлюпка. Ялта позади с резными белыми домами, с остроконечными кипарисами. Все больше зелени кругом. Здесь дачи по дороге в Ливадию уже целиком прячутся в зеленой стене, выглядывают то крышей, то белыми балконами. Когда спадает жара, по укатанному шоссе я попадаю в парки. Они громадны, чисты, полны очарования.

Море теперь далеко, у ног внизу, совершенно синее, ровное, как в чашу налито, а на краю чаши, далеко, далеко, – лежит туман.

Здесь, среди выложенных аллей, среди дорожек, проходящих между стен розовых цветников, приютился раскидистый и низкий, шоколадно-штучный дворец Александра III, а выше него, невдалеке, на громадной площадке белый дворец Николая II.

Резчайшим пятном над колоннами на большом полотнище лицо Рыкова. На площадках, усыпанных тонким гравием, группами и в одиночку, с футбольными мячами и без них, расхаживают крестьяне, которые живут в царских комнатах. В обоих дворцах их около 200 человек.

Все это туберкулезные, присланные на поправку из самых отдаленных волостей Союза. Все они одеты одинаково – в белые шапочки, в белые куртки и штаны.

И в этот вечерний, вольный, тихий час сидят на мраморных скамейках, дышат воздухом и смотрят на два моря – парковое зеленое, гигантскими уступами – сколько хватит глаз – падающее на море морское, которое теперь уже в предвечерней мгле совершенно ровное, как стекло.

В небольшом отдалении, за дворцовой церковью, с которой снят крест, за колоколами, висящими низко в прорезанной белой стене (на одном из колоколов выбита на меди голова Александра II с бакенбардами и крутым носом. Голова эта очень мрачно смотрит), выложенный свитский дом, а у свитского дома звучит гармоника и сидят отдыхающие больные.

* * *

Когда приходишь из Ливадии в Ялту, уже глубокий вечер, густой и синий. И вся Ялта сверху до подножия гор залита огнями, и все эти огни дрожат. На набережной сияние. Сплошной поток, отдыхающий, курортный.

В ресторанчике-поплавке скрипки играют вальс из «Фауста». Скрипкам аккомпанирует море, набегая на сваи поплавка, и от этого вальс звучит особенно радостно.

Во всех кондитерских, во всех стеклянно-прозрачных лавчонках жадно пьют холодные ледяные напитки и горячий чай.

Ночь разворачивается над Ялтой яркая. Ноги ноют от усталости, но спать не хочется. Хочется смотреть на высокий зеленый огонь над волнорезом и на громадную багровую луну, выходящую из моря. От нее через Черное море к набережной протягивается изломанный широкий золотой столб.

«У Антона Павловича Чехова»

В верхней Аутке, изрезанной кривыми узенькими улочками, вздирающимся в самое небо, среди татарских лавчонок и белых скученных дач, каменная беловатая ограда, калитка и чистенький двор, усыпанный гравием.

Посреди буйно разросшегося сада дом с мезонином идеальной чистоты, и на двери этого дома маленькая медная дощечка: «А. П. Чехов».

Благодаря этой дощечке, когда звонишь, кажется, что он дома и сейчас выйдет. Но выходит средних лет дама, очень вежливая и приветливая. Это – Марья Павловна Чехова, его сестра. Дом стал музеем, и его можно осматривать.

Как странно здесь.

В этот день Марья Павловна уже показывала дом группе экскурсантов, устала, и нас водила по дому какая-то другая пожилая женщина. Неудобно показалось спросить, кто она такая. Она очень хорошо знает быт чеховской семьи. Видимо, долго жила в ней.

В столовой стол, накрытый белой скатертью, мягкий диван, пианино. Портреты Чехова. Их два. На одном – он девятиных годов – живой, со смешливыми глазами. «Таким приехал сюда».

На другом – в сети морщин. Картина – печальная женщина, и рука ее не кончена. Рисовал брат Чехова.

– Вот здесь сидел Лев Николаевич Толстой, когда приезжал к Антону Павловичу в гости. Но кроме него, сидели многие: Бунин и Вересаев, Куприн, Шаляпин, и Художественного театра актеры приезжали к нему репетировать.

В кабинете у Чехова много фотографий. Они прикрыты кисеей. Тут Станиславский и Шаляпин, Комиссаржевская и др.

Какое-то расписное деревянное блюдо, купленное Чеховым на ярмарке на Украине. Блюдо, за которое над Чеховым все домашние смеялись, – вещь никому не нужная.

С карточки на стене глядит один из братьев Чехова, задумчиво возвел взор к небу. Подпись:

«И у журавлей, поди, бывают семейные неприятности... Кра...»

Верхние стекла в трехстворчатом окне цветные: от этого в комнате мягкий и странный свет. В нише, за письменным столом, белоснежный диван, над диваном картина Левитана: зелень и речка – русская природа, густое масло. Грусть и тишина.

И сам Левитан рядом.

При выходе из ниши письменный стол. На нем в скупом немецком порядке карандаши и перья, докторский молоток и почтовые пакеты, которые Чехов не успел уже вскрыть. Они пришли в мае 1904 г., и в мае он уехал за границу умирать.

– В особенности донимали Антона Павловича начинающие писатели. Приедет, читает, а потом спрашивает: «Ну как вы находите, Антон Павлович?»

А тот был очень деликатный, совестился сказать, что ерунда. Язык у него не поворачивался. И всем говорил: «Да ничего, хорошо... Работайте». Не то что Шалапин, тот прямо так и бухал каждому: «Никакого у вас голоса нет, и артистом вы быть не можете!»

В спальне на столике порошок фенацетина – не успел его принять Чехов, – и его рукой написано «phenal»... – и слово оборвано.

Здесь свечи под зеленым колпаком, и стоит толстый красный шкаф – мать подарила Чехову. Его в семье называли насмешливо «наш многоуважаемый шкаф», а потом он стал «многоуважаемый» в «Вишневом саду».

На автомобиле до Севастополя

Если придется ехать на автомобиле из Ялты в Севастополь, да сохранит вас небо от каких-либо машин, кроме машин Крымкурсо. Я пожелал сэкономить два рубля и «сэкономил». Обратился в какую-то артель шоферов. У Крымкурсо место до Севастополя стоит 10 руб., а у этих 8.

Бойкая личность в конторе артели, личность лысая и европейски вежливая, в грязнейшей сорочке, сказала, что в машине поедет пять человек. Когда утром на другой день подали эту машину – я ахнул. Сказать, какой это фирмы машина, не может ни один специалист, ибо в ней не было двух частей с одной и той же фабрики, ибо все было с разных. Правое колесо было «мерседеса» (переднее), два задних были «пеуса», мотор фордовский, кузов черт знает какой! Вероятно, просто русский. Вместо резиновых камер – какая-то рвань.

Все это громыhalo, свистело, и передние колеса ехали не просто вперед, а «разъезжались», как пьяные.

И протестовать поздно, и протестовать бесполезно.

Можно на севастопольский поезд опоздать, другую машину искать негде.

Шофер нагло, упорно и мрачно улыбается и уверяет, что это лучшая машина в Крыму по своей быстроходности.

Кроме того, поехали, конечно, не пять, а 11 человек: 8 пассажиров с багажом и три шофера – двое действующих и третий – бойкое существо в синей блузе, кажется, «автор» этой первой по быстроходности машины, в полном смысле слова «интернациональной». И мы понеслись.

В Гаспре «первая по быстроходности машина», конечно, сломалась, и все пассажиры этому, конечно, обрадовались.

Заключенный в трубу, бежит холоднейший ключ. Пили из него жадно, лежали, как ящерицы на солнце. Зелени – океан; уступы, скалы...

Шина лопнула в Мисхоре.

Вторая в Алушке, облитой солнцем. Опять страшно радовались. Навстречу пролетали лакированные машины Крымкурсо с закутанными в шарфы нэпманскими дамами.

Но только не в шарфах и автомобилях нужно проходить этот путь, а пешком. Тогда только можно оценить красу Южного берега.

Севастополь, и Крыму конец

Под вечер, обожженные, пыльные, пьяные от воздуха, катили в беленький раскидистый Севастополь, и тут ощутили тоску: «Вот из Крыма нужно уезжать».

Автобандиты отвязали вещи. Угол на одном чемодане был вскрыт, как ножом, и красивым углом был вырван клочок из пледа. Все-таки при этой дьявольской езде машина «лизнула» крылом одну из мажар.

Лихие ездоки полюбовались на свою работу и уехали с веселыми гудками, а мы вечером из усеянного звездами Севастополя, в теплый и ароматный вечер, с тоскою и сожалением уехали в Москву.